

Инна Соболева



# НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

*Дорога, которая ведет к Храму*



ПИТЕР

Инна Соболева

**Невский проспект**

«Питер»

2014

## **Соболева И. А.**

Невский проспект / И. А. Соболева — «Питер», 2014

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он составляет все... Всемогущий Невский проспект!» (Н. В. Гоголь) С самого начала создания Невский проспект как будто бы вышел из повиновения своих создателей, разрушая их замыслы и живя самостоятельной жизнью. Должен был быть прямым, как стрела, а изогнулся в том месте, где соединялся с нынешним Лиговским проспектом. Должен был стать лишь дорогой к центру города – Васильевскому острову, но сам с течением времени превратился в центр, артерию Петербурга. Великие ученые, гениальные поэты и художники, городские сумасшедшие, философы, артисты – все обитали здесь. Неповторимый дух Невского до сих пропитывает весь город и создает собственную, неповторимую петербургскую ауру. Новая книга Инны Соболевой проведет читателя по Невскому проспекту от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры и расскажет множество удивительных историй о домах и людях, чьи судьбы навсегда оказались связаны с величественным, всемогущим Невским.

© Соболева И. А., 2014

© Питер, 2014

## Содержание

«И светла адмиралтейская игла...»	7
«Люблю твой строгий, стройный вид...»	26
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# Инна Аркадьевна Соболева

## Невский проспект

*Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего,  
пресмыкаясь перед одним настоящим.*  
**Александр Пушкин**

*Зачем улица, если она не ведет к храму?*  
**Тенгиз Абуладзе. Фильм «Покаяние»**

*На земле была одна столица. Все другие – просто города.*  
**Георгий Адамович**

*История для меня гвоздь, на который я вешаю свою картину.*  
**Александр Дюма**

*На форзаце:* Невский проспект у Аничкова дворца. 1830-е. К. К. Гампельн  
*На нахзаце:* фото Владимира Ключарева.

Даже и тем, кто никогда не бывал в Петербурге, известно: Невский проспект – главная улица города, рожденного, чтобы стать столицей великой империи, потом названного городом трех революций и, наконец, получившего титул культурной столицы России (возможно, в порядке компенсации).

А уж те, кто живет в этом городе или приезжал сюда хоть раз, знают: Невский – неотразим. Правда, придирчивые знатоки, склонные поверять алгеброй гармонию, случается, недоумевают: чем он берет, чем поработает сердца? Ведь не назовешь его образцом совершенства: рядом с шедеврами уверенно чувствуют себя вполне заурядные, а то и раздражающие, не выдерживающие строгой критики постройки...

В чем же тайна его магии? Разгадать ее пытались многие. Но, мне кажется, удалось это человеку, столь же сложной душевной конструкции, что и весь этот странный, вымышленный город, который Невский проспект то ли рассекает пополам, то ли, наоборот, скрепляет. Имя этого человека – Николай Васильевич Гоголь. «Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно». Кажется, Гоголь всего лишь о житейском: о коммуникации между людьми, живущими в едином пространстве и времени. Но с годами эта бытовая роль главного проспекта Петербурга если и не уходит вовсе, то отступает перед ролью мистической: он стал связующим звеном между временами – удивительным образом сохранил память о тех, кого пришлось ему видеть в течение всей своей трехсотлетней жизни. Сохранил, а потом перемешал и объединил. Так и живут они теперь вместе: Франческо Бартоломео Растрелли и Иосиф Бродский, Гоголь и Хармс, Милорадович и Говоров, Глинка и Шостакович, Репин и Аникушин, Некрасов и Горький, Менделеев и Пирогов, Достоевский, Белинский, Блок и, конечно же, Пушкин.

Так что, ступив на Невский – в это мистическое пространство, – можно выбрать любого из этой блистательной толпы... Нет, не толпы, толпа – сборище не-личностей, а здесь... Точнее, наверное: выбрать из этого сонма того, кто ближе, интереснее, и последовать за ним – «подсмотреть», как складывались его отношения с Невским проспектом. Для меня это Пушкин. Но... справедливо ли начинать рассказ с того момента, когда наш герой (Невский) уже достиг расцвета, умолчав о его рождении и детстве? Можно ли обойти вниманием человека,

без которого не было бы даже и предмета разговора – не было бы ни проспекта, ни самого этого невероятного города, ни даже Пушкина. Думаю, только за то, что пригрел и пристроил к делу африканского мальчишку Абрама Ганнибала, а потом еще и женил его на русской девушке, все мы, даже и те, кто до сих пор именует Петра Алексеевича антихристом, должны в пояс ему поклониться. Потому что какая же Россия без Пушкина?

## «И светла адмиралтейская игла...»



*Неизвестный художник по гравюре Г. А. Качалова с рисунка М. И. Махаева 1748 г. Адмиралтейство со стороны Невского проспекта. Вторая половина XVIII в.*

Итак, начало XVIII века, Петровская эпоха. Когда-то Лев Николаевич Толстой признавался, что, «распутывая поток» исторических событий, нашел именно в этой эпохе «начало всего». О том, что она – начало нашего города, писать не буду: это известно всем и не раз подробнейшим образом описано. Расскажу только о Невском проспекте и о его «особых отношениях» с основателем города. Был царь Петр непреклонен и, что греха таить, временами жесток не в меру. Так что мало кто решался идти против его воли. А вот Невский проспект (тогда он проспектом не был, а был всего-навсего дорогой, правда, Большой и Перспективной) осмелился воспротивиться воле самодержца: вместо того, чтобы послушно уступить главенство Васильевскому и Городовому островам, как замыслил император, стал главным, центральным кровеносным (а значит – жизненным) сосудом Петербурга.

Тому, кто видит в Невском проспекте, да и вообще в городе просто сумму зданий, где можно жить, развлекаться и покупать, покупать, покупать, речь о характере проспекта, некорном, а то и просто вздорном, покажется бредом. А вот те, для кого и город, и проспект – живые... Те – поймут. Дело в том, что проспект и люди, на нем живущие или просто приходящие сюда, чтобы прикоснуться к прошлому своего города, от домов, дворцов, мостов Невского неотделимы. Люди одушевляют проспект, проспект – вдохновляет людей. И его процветание – это их процветание, его гибель – это их гибель. Это с поражающей очевидностью подтвердила война. Люди умирали, чтобы спасти свой город (и проспект – его сердце). Несколько лет назад уважаемый человек, участник войны заявил, что защищать Ленинград ценой жизни сотен тысяч людей было бесчеловечно, что все эти дома, дворцы, памятники – ничто по сравнению с человеческой жизнью, что нужно было сдать город и тем самым спасти его жителей. Что тогда было в Петербурге! Блокадники не могли ни понять, ни простить такого отношения к своему городу – к своей святыне. А еще – жалели тех, кто не чувствует: каждый дом, а не только архитектурный шедевр, не только дворец – это чей-то замысел, чья-то воплощенная мечта, чьи-то судьбы – хранилище памяти. Не защитить, пройти равнодушно – значит предать.

Я никогда не забуду рассказ старшего сына Леонида Александровича Говорова, командующего Ленинградским фронтом, того, кого ленинградцы весной сорок второго называли «гене-

ралом надежды» (маршалом он стал в 1944 году), кому город и его жители обязаны столь многим, что это требует подробного рассказа, способного увести очень далеко от основной темы книги. Так вот, Владимир Леонидович рассказывал, что отец, человек, по общему мнению, абсолютно бесстрашный, признавался, что боится ехать в осажденный фашистами Ленинград. Это не был страх в привычном понимании слова. Это была невыносимая боль ожидания. Ожидания ужаса, который ему предстояло увидеть. Он ведь знал, что пережил Ленинград зимой 1941–1942-го... Он любил этот город, восхищался его красотой. И вот ему предстояло... По дороге с аэродрома в Смольный (беспартийный командующий фронтом должен был прежде всего явиться в обком партии) попросил провезти его по Невскому. И был потрясен: Невский, его любимый прекрасный Невский, был так же чист и ухожен, как до войны. А раны... Что ж. Их бережно прикрыли щитами. И он, никогда не задававший лишних вопросов, умевший владеть своими чувствами, не смог скрыть волнения: «Как это удалось? Кто это сделал?» Ему ответили: женщины, ленинградки, едва стоявшие на ногах от истощения и безмерной усталости. Это они убрали Невский, и не только Невский – весь город. Скалывали метровый лед, вывозили его на детских саночках, выкапывали из-под льда трупы. Они, отстоявшие город, возвращали ему достоинство – порядок и чистоту, так поражающую на Невском всех и всегда (начиная с петровских времен, когда в других районах молодой столицы грязь стояла непролазная). Они чистили главный проспект своего израненного города и... падали замертво, не выдержав непосильной работы. Мне кажется, что они, безымянные, не пережившие той страшной зимы, тоже здесь, на Невском, среди великих теней, его населяющих.

Когда Леонид Александрович говорил о весне сорок второго, о сияющем чистотой Невском, он, по словам Владимира Леонидовича, опускал взгляд или отворачивался – скрывал, что глаза наполняются слезами. Плакать он не умел... Сыну, генералу армии, в то время, когда он мне рассказывал об отце, – заместителю министра обороны огромной страны, тоже было не занимать умения владеть собой (положение обязывает), и все-таки, когда говорил об искалеченном, но не униженном городе и его главной улице, скрывать свои чувства мог с трудом. Для этих людей, как и для всех защищавших Ленинград и восстанавливавших свой город, он был не просто суммой зданий, в которых можно... Ну да, об этом я уже писала. Правда, почти два десятка лет назад казалось, что вопрос, стоило ли ценой бесчисленного числа человеческих жизней спасать город, решен: да, стоило. Но вот недавно модная телеведущая, полемизируя с представителем Русской православной церкви, в ответ на его слова: «Православный человек должен быть готов умереть за свои святыни» с пафосом воскликнула: «Концепция, что святыня может быть важнее жизни, для меня неприемлема. Какой-то каменный истукан важнее человеческой жизни...» Скажу сразу: в телевизионном поединке речь шла не о защите города, в котором барышня, к слову, родилась и который легко покинула ради «ловли счастья и чинов». Покинула и покинула – ее дело. Но ведь петербурженка, хотя и в первом поколении. Как-то неуютно становится на душе, когда слышишь от человека, выросшего в этом городе, не раз подтверждавшем, что ради сохранения святынь его люди готовы идти на смерть, такие пассажи. Прошу только понять меня правильно: речь не идет о петербургском снобизме, о том, что коренные жители этого города что-то лучше понимают, как-то тоньше чувствуют. Вовсе я так не думаю. А чтобы поставить на место тех, кто склонен впасть в подобное заблуждение, скажу только одно: Пушкин не был коренным петербуржцем. Но разве был на свете кто-нибудь, понимавший и чувствовавший Петербург лучше, чем он?

Что же касается защиты святынь... 10 июня 1922 года (а потом еще много дней подряд) по Невскому, к зданию Дворянского собрания, что на Михайловской площади (сейчас там филармония, тогда был зал суда), везли арестованных по так называемому делу митрополита Вениамина – об изъятии церковных ценностей. Я писала об этом достаточно подробно в книге «Утраченный Петербург». Скажу только, что когда под предлогом помощи голодающим новая власть начала грабить церкви, большинство священников с легкостью отдали все, не имеющее



особого сакрального смысла. Но когда попытались отнять священные предметы, священники воспротивились. И пошли на смерть. Пример тому – судьба Петра Скипетрова. Когда красногвардейцы через три месяца после Октябрьского переворота ворвались в Александро-Невскую лавру (напомню: это – Невский проспект) и пытались захватить имущество церкви, он закрыл своим телом вход в собор. Его убили прямо на паперти... Но святыни (тогда) удалось сберечь.

А перед началом суда Невский, Михайловская улица и площадь были заполнены народом: люди хотели еще раз (не дай Бог, последний) увидеть своего пастыря, своего избранника, митрополита Петроградского Вениамина. Когда появилась тюремная машина, сотни верующих опустились на колени и запели: «Спаси, Господи, люди Твоя». Спасти не удалось... Четверо подсудимых были расстреляны, остальные отправлены в тюрьмы и лагеря. Это не было для них неожиданностью. Они знали, на что шли, защищая свои святыни.

И тут же, на Невском, через 20 лет снова спасали святыню. На этот раз – Публичную библиотеку. На Гостиный двор, туда, где пересекаются Невская и Садовая линии, упала зажигательная бомба. Пожар вспыхнул мгновенно. И люди, истощенные, едва стоявшие на ногах (не только пожарные, не только милиционеры, но и случайные прохожие), не дали пламени ни охватить весь Гостиный двор, ни – главное – перекинуться на бесценную библиотеку. Они задыхались, падали, с трудом поднимались и снова пытались справиться с огнем. Каждый делал, что мог, даже если мог совсем немного. Но вместе они победили. Прошли годы, и мало кто из работавших и работающих в Публичке (уже довольно давно называется она Национальной библиотекой, но старое имя не уступает) знает, что библиотеки с 12 января 1942-го могло не быть на земле, а уж имен ее спасителей не знает вообще никто...

У этих людей были разные святыни: у одних – богослужебные предметы, у других – книги, у третьих – дома, храмы, дворцы. И они, каждую минуту рискуя жизнью, дежурили на крышах – тушили «зажигалки» (написала и поняла: не всем слово «зажигалка» будет понятно, выросло уже не одно поколение, для которого смысл его никак не связан с зажигательными бомбами). Для кого-то святыней были деревья Летнего сада. И они сохранили их в замерзающем городе. А ведь если бы срубили эти деревья, помнившие Пушкина, дров хватило бы, чтобы натопить сотни «буржук» и, быть может, спасти многие жизни. Но... святыни. **Что** было святыней для разных людей, по существу, не так и важно. Важно, что святыни у них были. И это были уж никак не зеленые бумажки с портретом президента чужой далекой страны.

Вот теперь самое время вернуться к петровским временам. Потому что главной святыней город обязан именно своему основателю. Некоторые называют его антихристом, но ведь именно он повелел перенести мощи Святого князя Александра Невского в новую столицу и построить для этого не просто храм, но огромную, непревзойденную по красоте и величию обитель. Именно это его решение чудесным образом повлияло на мироощущение живущих в Петербурге: соседство с великой святыней породило ощущение неразрывной духовной связи с нею, а значит и с городом, ею хранимым. Напомню, с 30 августа 1724 (!) года, с того самого дня, когда мощи были перенесены в церковь, построенную Доменико Трезини по распоряжению императора Петра Алексеевича, мощи святого покровителя города не покидали Невский проспект. Сначала они хранились в Александро-Невском монастыре, в 1797 году наименованном Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой, 20 ноября 1922 года были оттуда изъяты и только 3 июня 1989-го возвращены в Свято-Троицкий собор. Но даже во времена гонений на веру их хранили в Музее истории религии и атеизма, который разместили не где-нибудь, а в особо почитаемом верующими Казанском соборе – на Невском проспекте.

Думаю, закладывая Александро-Невский монастырь и Адмиралтейство, Петр тем самым закладывал программу развития города и всей страны. И смысл этой программы был в единении нового (строительство флота, сделавшего Россию мировой державой, – Адмиралтейство) и традиционного (духовное самостояние русских людей – монастырь).

Так что утверждения, будто Петру было ненавистно **все** старое, привычное, что он беспощадно ломал и уничтожал **все**, что было дорого народу, мягко говоря, – преувеличение и оговор. Он ломал и уничтожал только то, в чем видел помеху движению России вперед. Случалось, заблуждался, случалось, ломка была не просто жестокой – свирепой. Но цель-то была наша излюбленная: хотел как лучше... Похоже, я начинаю его оправдывать, а это занятие пустое – он в оправданиях не нуждается. Тем более тот, кто только и мог с него спросить, уже давно спросил и, скорее всего, – простил. Хотя бы потому, что как никто умеет прощать.

Позволю себе усомниться, что Петр был врагом Христа. И даже в том, что был он врагом церкви. Если понимать под церковью все сообщество верующих. А вот к церкви как к институту, к церковной иерархии он действительно относился с неприязнью: она пыталась если не лишить его власти, то, по крайней мере, разделить ее с ним. А он желал быть единственным владыкой – истинным самодержцем. Поэтому и упразднил патриаршество, обеспечивавшее независимость, хотя бы и не полную, православной церкви от государства, и учредил Священный Синод – некое министерство по делам религии. При этом заявил народу, что делает это для общего блага, что «от соборного правления не опасаться отечеству мятежей и смущения, яковые происходят от единого собственного правителя духовного». И ведь это были не пустые слова: народ еще помнил распри между царем Алексеем Михайловичем, батюшкой императора Петра, и патриархом Никоном. Помнить-то помнил. Другое дело – на чьей стороне он был, народ.

Историки цитируют мнения о царе-реформаторе его подданных, не ученых монахов, не отцов церкви, а простых крестьян. Насколько они достоверны, судить не берусь, но привожу цитаты дословно. «Какой это царь, он антихрист, а не царь, царство свое покинул и знаетца с немцами и живет все в Немецкой слободе, в среду и в пятницу ест мясо. Инова антихриста не ждите, тот он антихрист». «Государя царя Петра Алексеевича и государя царевича на Москве нет, изведены, извели бояре да немцы, вместо него царствует антихрист».



*В. А. Серов. Петр Великий. 1907 г.*

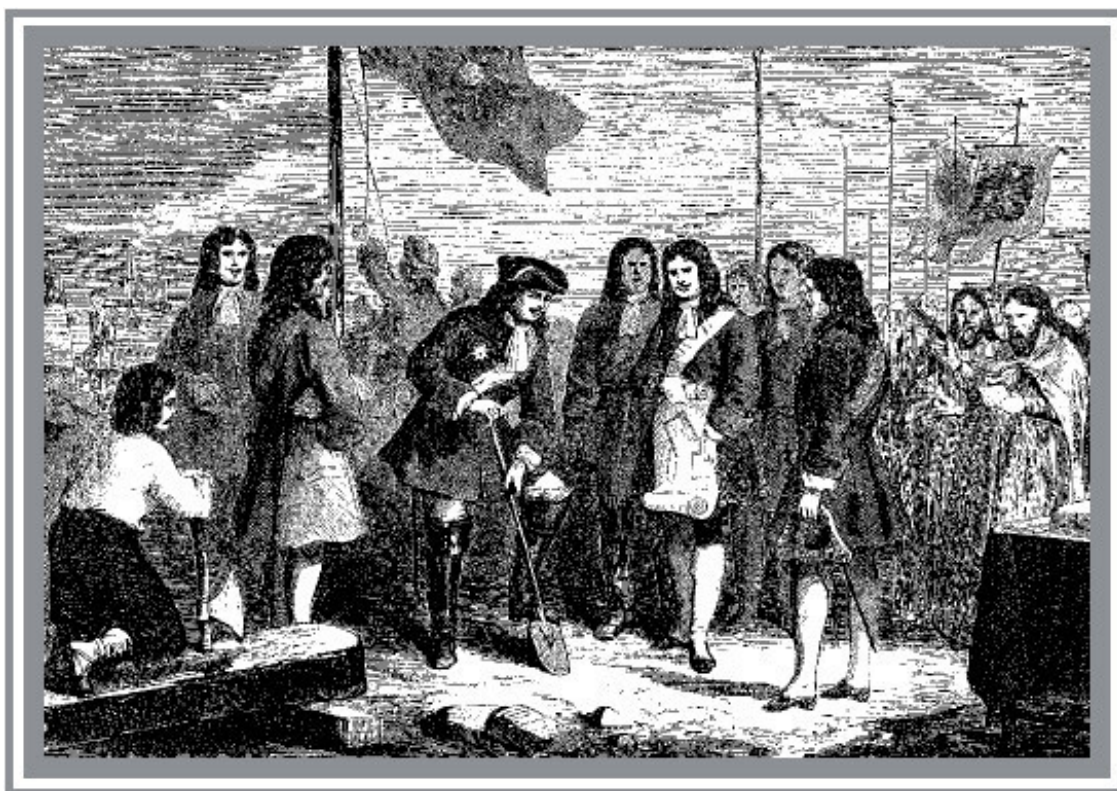
Нет сомнения, ему об этом доносили. А он не пытался оправдываться перед народом. Напротив, провозгласив столь близкое сердцу русского человека соборное правление, сам стал единоличным главой церкви своего государства и начал со свойственной ему энергией и горячностью «наводить порядок» в церковных делах, а по существу – регламентировать духовную жизнь подданных. Священников превратил в государственных чиновников, да еще потребовал, чтобы они нарушали тайну исповеди – сообщали о готовящихся преступлениях, о которых узнают на исповеди. А преступлениями в первую очередь признавали любые действия против царя и его реформ. Коснулись петровские преобразования и верующего люда. Если раньше ходить в храм, исповедоваться человек мог по велению сердца, то теперь это стало обязанностью, за исполнением которой строго следили: в церкви Петр видел своего рода школу воспитания нравственности, так что пропускать занятия в этой школе было не должно. Таким образом, царь не только подчинял церковь интересам государства, но и привлекал к посещению храмов все новых и новых прихожан.

А вот от монастырей всячески старался народ отвлечь. Монахов иначе как ханжами, святошами, тунеядцами не называл. Обобщение не было справедливым, как и любое обобщенное суждение о людях одной профессии или, скажем, одной национальности. Но доля правды в суждении императора была: большая часть монахов отошла от идеи нестяжательства, проповедовавшего аскетизм, тяжкий труд и бедность. Монастыри превратились в богатейших владельцев земель и крепостных душ. В одном из указов Петр противопоставлял образ жизни современных ему монахов и их предшественников: «...древние монахи трудолюбивыми своими руками пищу промышляли и общежительно живяше, и многих нищих от своих рук питали, нынешние же монахи не токмо нищих питае от трудов своих, но сами чуждые труды

поедаша, а начальные<sup>1</sup> монахи во многия роскоши впадоша». Вывод он делал решительный: обязывал монахов «служити прямым нищим, престарелым и младенцем». Понятно, многие были недовольны. Но так ли уж он был не прав?

И вот при таком отношении к монастырям и монахам государь повелевает строить в только что основанном городе, в городе, которому предстояло воплотить его мечту, не просто храм – монастырь. Вот вам и царь-антихрист... Как это совместить, как понять? Может быть, так проявился характер Петра, неуравновешенный, склонный к парадоксальным поступкам? Но ведь может быть и другое. Он понимал: городу на Руси без обители не стоять, монастырь нужен народу как духовная опора. Да и надеялся, очевидно, что уж в его-то городе монахи не будут сибаритствовать – будут служить людям, вот хотя бы солдатам-инвалидам, которых войны все прибавляли и прибавляли... Надежду эту Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь, надо сказать, во многом оправдал. Только вот его основатель до этого не дожил...

Но к монастырю и его истории я вернусь после того, как расскажу об Адмиралтействе, все-таки именно оно – начало пути и исток Невского проспекта. Может быть, даже его первопричина. Обитель же – конец, вернее – цель пути. Да и строить Адмиралтейство начали раньше.



*Неизвестный художник. Закладка крепости Санкт-Петербург*

Что строить необходимо, было ясно сразу, как только овладели невскими берегами: чтобы закрепиться на море, России нужен флот, а строили корабли на Олонецкой верфи и в Лодейном Поле. От моря далеко, перегонять суда через бурную Ладогу и крутые Ивановские пороги ой как непросто. До Невы добирались не все, а многие суда после ладожских штормов приходилось сразу ставить на ремонт. Верфь нужна была вблизи моря. И нужна была как можно скорее. Петр I спешил и все-таки целую неделю потратил на поиски места – объехал в шлюпке все бухты, все заливы в пределах будущего города. И наконец выбрал: на левом берегу Невы, наискосок от Заячьего острова, напротив Васильевского. Нева здесь широка – спускать

<sup>1</sup> Начальные – начальствующие.

на воду суда со стапелей сподручно. К тому же издавна стояла там деревушка Гавгуево, а люди ведь на топком болоте жить не станут: выберут место посуше, понадежнее. Так что «приют убогого чухонца» помог царю сориентироваться.

Адмиралтейство – первая постройка на левом берегу Невы. Поначалу Петр предполагал, что оно будет только верфью. Но в 1704 и 1705 годах шведские войска часто угрожали молодому Санкт-Петербургу и с суши, и с моря. Вот и было решено строить не просто верфь, но верфь-крепость. Если бы шведы решили напасть с суши, их встретил бы (как и положено по правилам фортификации) огромный, простиравшийся до самой реки Мьи (Мойки) гласис – абсолютно свободное не только от любых построек, но даже и от кустарников пространство (Адмиралтейский луг), где спрятаться нападавшим было бы невозможно. С пяти же крепостных бастионов, с вала, окружающего Адмиралтейство, они были бы видны как на ладони – только успевай заряжать пушки (а их установили около 100 штук). Защищал верфь и глубокий ров, наполненный водой. Перебраться через него можно было исключительно через подъемные мосты, которые опускали, только убедившись, что идут или едут свои.

А для защиты от нападения с моря за зиму между островом Котлин и мелью построили деревянный форт Кроншлот. Он перекрыл фарватер. Ну а если бы шведам все же удалось прорваться к городу, их встретил бы огонь с обоих берегов: с правого стреляли бы пушки Петропавловской крепости, с левого – Адмиралтейства. Но шведы не стали рисковать. А после Полтавской победы реальная опасность вообще перестала угрожать Петербургу. Вот и получилось, что обе крепости, построенные, чтобы защитить город, ни разу не сделали ни одного выстрела. С петровских времен ни один шведский корабль не вошел во внутренние воды Петербурга. Но прошло 300 лет, и проплыл по Неве под алыми парусами шведский бриг «Тре крунур» – приветствовал юбиляра. Так что времена меняются. И не всегда к худшему...

Петр заложил верфь 5 ноября 1704 года. Об этом сохранилась его собственноручная запись: «Заложили Адмиралтейский дом и были в остерии и веселились, длина 200 сажен<sup>2</sup>, ширина 100 сажен». Крепостные укрепления возвели всего за месяц. Почти одновременно начали строить корабли. 1 октября 1705 года над башней с въездными воротами установили первый шпиль – скромный прообраз прославленной Адмиралтейской иглы. А в середине ноября Иван Яковлевич Яковлев, олоонецкий комендант, которому государь поручил устройство адмиралтейского двора, доносил: «...крепость строением совсем совершилась, и ворота подъемные построены, и шпиц, и по бастионам по всем пушки поставлены, и рогатками обнесено».

Адмиралтейство стало первым и на долгие годы самым крупным производством в столице. Там делали все: от заготовки леса до полной постройки корабля. По периметру крепости как внутри, так и снаружи выкопали каналы. По ним подвозили материалы к мастерским, складам и эллингам прямо с Невы. Прорыли и широкий Адмиралтейский канал до Новой Голландии, где размещались склады морского ведомства (сейчас на его месте Конногвардейский бульвар). Казалось, все продумано, все слажено, но в 1705 году невиданное до тех дней наводнение порушило почти все, что было построено (постройки-то были деревянные или мазанковые, где им устоять перед напором разъяренной реки). И все-таки 29 апреля 1706 года со стапелей сошло первое судно – 18-пушечный корабль, конструкцию которого приписывают самому государю. А в ознаменование Полтавской победы Петр 6 декабря 1709 года собственноручно заложил на Адмиралтейском дворе первый крупный, 54-пушечный корабль. В 1712 году его спустили на воду. Назвали «Полтава». С тех пор вошло в обычай торжественно всем городом праздновать спуск каждого корабля. Мастер, строивший судно, получал из рук царя на серебряном блюде по 3 серебряных рубля за каждую пушку. В петровское время со стапелей

---

<sup>2</sup> 1 сажень = 2,1336 метра.

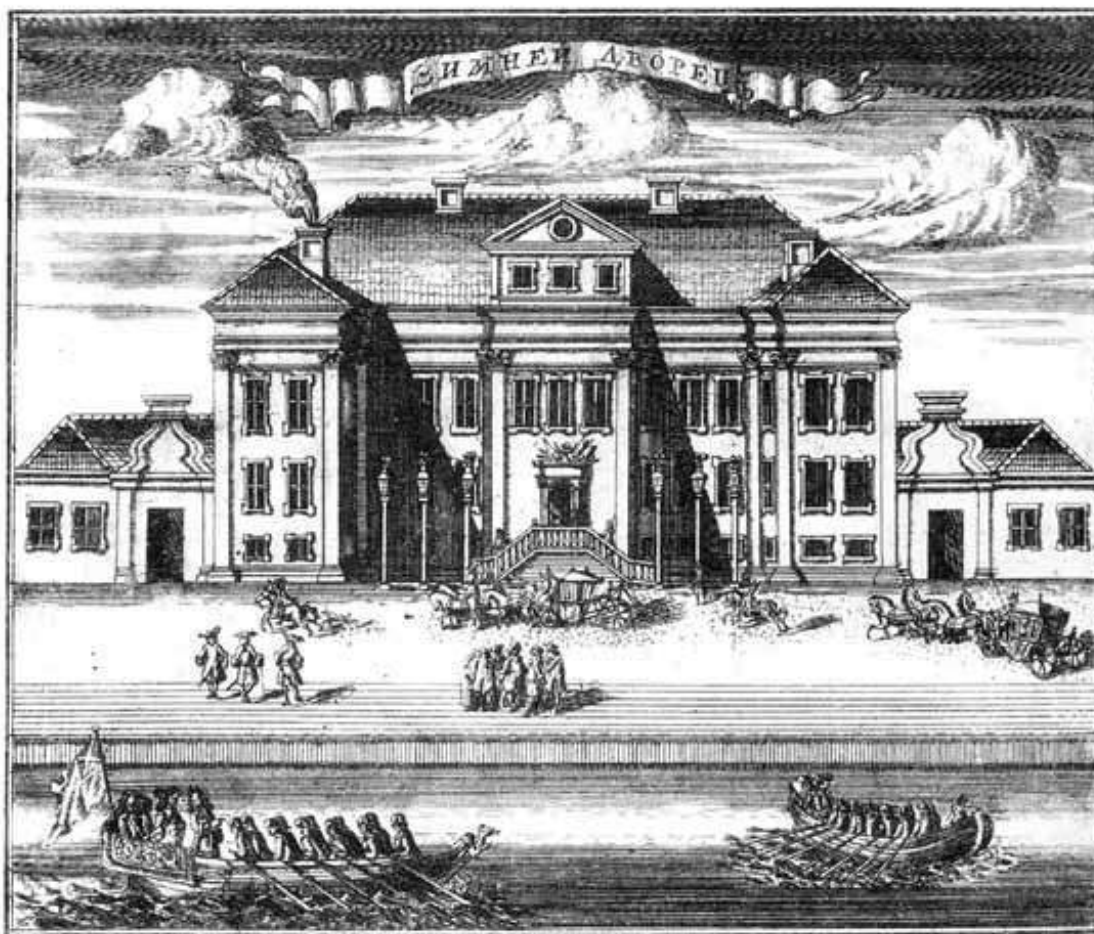
Адмиралтейства сошли на воду 262 судна, в том числе 23 линейных корабля. Верфь исправно работала 138 лет. В 1844-м по распоряжению императора Николая I ее закрыли.

Трудилось на первом крупном промышленном предприятии столицы одновременно до 10 000 человек. Работали тяжело, на износ. Сам царь долго служил на верфи «басом» (главным мастером). Со временем от должности пришлось отказаться – даже он не мог объять необъятное. Но не было дня (конечно, если оставался в Петербурге), чтобы он не побывал в своем любимом Адмиралтействе. Приходил когда в четыре, когда в пять часов утра. Так что нет ничего удивительного, что и для других установил такой распорядок: «В колокол бить на работу и с работы, марта с десятого, сентября по десятое число, по утру полпята, в вечеру в марте и апреле семь часов; в июне, июле по утру полпята, в вечеру в осьм. Сентября с десятого марта по десятое, по утру час пред восхождением солнца, в вечеру час по захождении солнца». Это 32-й пункт «Регламента Адмиралтейской верфи», утвержденного императором.

Режим, что и говорить, суровый. Как тут не вспомнить ставшее едва ли не аксиомой утверждение, что наш город стоит на костях (оно из одного ряда с любимым проклятием петербургоненавистников: «Петербургу быть пусту!»). Начну с того, что вряд ли есть на земле, во всяком случае на обжитой ее части, город, да даже и поселок, и деревня, не стоящие на костях. Хотя бы потому, что тех, кто ушел, за тысячелетия было много больше, чем обитающих на земле сегодня. Земля приняла всех. Где? Самым старым из известных кладбищ – сотни лет. Всего сотни. А раньше... Но это так, эмоциональное отступление. А вот замечательный наш архивист Светлана Вячеславовна Казакова попыталась абсурдность и злонамеренность утверждения о городе на костях доказать. Окно ее рабочего кабинета в здании Синода, где еще недавно размещался Центральный государственный исторический архив, выходило на площадь (Петровскую, Сенатскую, Декабристов). Поднимешь глаза – и прямо перед тобой он, Медный всадник. Будто требует чего-то, будто укоряет. И Светлана начала (после основной своей работы) изучать списки строителей города. Обнаружилось вот что: в списках за несколько лет повторялись одни и те же имена. Значит, не умерли, значит, продолжали работать. Предвижу возражения: мол, сколько их – одноименных Иванов Петровых, Петров Михайловых и других – тысячи. Но дело в том, что списки-то велись подробные: откуда родом, из какой губернии, какого села, какого помещика (если крепостной). Значит, не было строительство Петербурга гигантской беспощадной мясорубкой, перемалывавшей без счета подданных своего безумного основателя. Конечно, люди гибли. И от изнеможения, и от холода, и от эпидемий. Время было такое. И судить о нем все-таки справедливее по его законам, а не по представлениям привыкшего к комфорту XXI века.

А тогда Адмиралтейство росло. И притягивало все больше и больше людей. И жить эти люди старались как можно ближе к месту службы. Оно и понятно, особенно если вспомнить, в какую рань начинали работать. Поначалу Петр запрещал строиться на левом берегу Невы: не желал отказаться от мечты сделать центром столицы Васильевский остров. А то, что сам на левом берегу поселился, так это скорее ради удовольствия с раннего утра сесть в шлюпку и плыть по Неве куда душе угодно. Для него ведь передвигаться по воде было много приятнее, чем по земле. Вот, похоже, и думал, что и всем переплыть через Неву – в удовольствие.





*А. Ф. Зубов. Панорама Петербурга (фрагмент). 1716 г.*

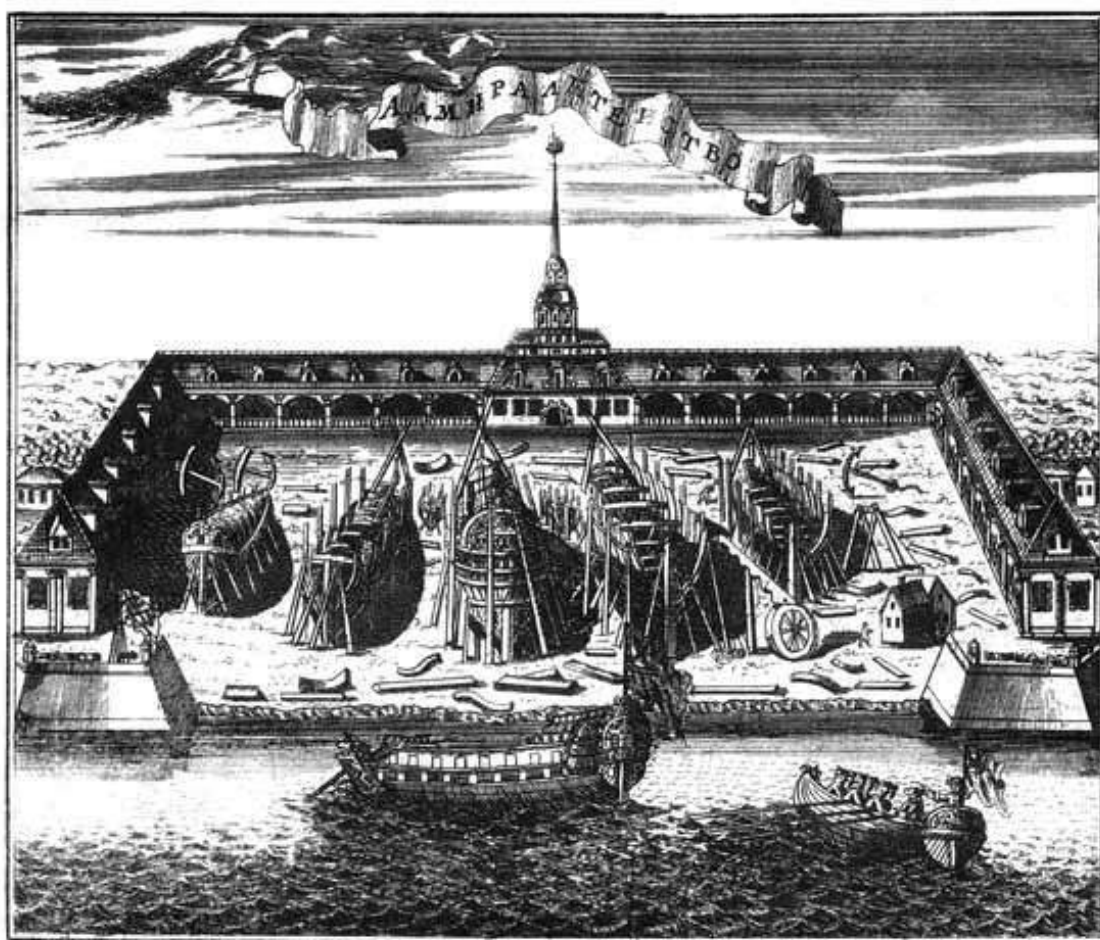
Когда осенью 1705 года из-под Котлина пришел в Петербург на зимовку флот, нужно было рядом с Адмиралтейством разместить моряков, которые на зиму стали первым гарнизоном верфи-крепости. Пришлось срубить избы прямо на бастионах. Вокруг них-то и начали расти Морские слободы. Рабочий люд и морские чиновники средней руки селились между Адмиралтейством и Мойкой. Отсюда и названия улиц – Большая и Малая Морские.

Хотя и не расстался Петр со своей мечтой о центре столицы, хотя и повторял: «Велеть итить на Васильевской остров, разве кто скаску даст, что он на Васильевском острове станет строитца и тот двор<sup>3</sup> за загородной употребит», «не ставить там никому ничего, а отводить на Васильевском острове», адмиралтейская сторона мало-помалу заселялась. Я еще расскажу, как, вроде бы и выполняя указание императора, на деле сопротивлялись ему могущественные братья Строгановы. И не только они. Даже генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин, человек Петру преданный беспредельно, никогда воли его не нарушавший, взял да и построил себе дом не на Васильевском острове, а в четырехстах метрах от Адмиралтейства: хотел всегда быть поблизости от верфи. Как тут запретишь?

Но не эти хаотические постройки перечеркнули планы императора, связанные с Васильевским островом, – их перечеркнула просека, которую распорядился рубить не кто-нибудь, а он сам. Мог ли думать, что в не слишком далеком будущем ей предстоит стать главной улицей столицы. А Адмиралтейству, от которого она начиналась, – не только колыбелью отечественного флота, но и одним из главных градообразующих сооружений Петербурга...

<sup>3</sup> Тот, что на Адмиралтейской стороне.

Уже при Петре начали заботиться о внешнем облике Адмиралтейства. В 1711 году государь повелел перестроить южную часть здания «в камень». Тогда-то и появилась первая мазанковая башня. А через несколько лет граф Апраксин, глава недавно образованной для управления российским флотом Адмиралтейств-коллегии, поручил голландскому «шпицных и кровельных дел мастеру» Герману ван Болесу, тому, кто незадолго перед тем соорудил шпиль собора в Петропавловской крепости, привести Адмиралтейство в «пристойное состояние». В 1719 году по проекту ван Болеса построили новое каменное здание. Над его въездными воротами установили каменную башню со шпилем. Мастер получил приказ: «Шпиц адмиралтейский достроить... и на оном шпице поставить яблоко и корабль и поверх его корону». Поставил. Потом Адмиралтейство перестраивали дважды, но на кораблик никто не покусился. Еще при Петре он стал и остается до сих пор одним из символов Санкт-Петербурга. Историки до сих пор не пришли к окончательному согласию, по образу какого судна сделан кораблик. Большинство склоняется к тому, что это малая копия боевого судна «Орел», построенного в 1668 году, в царствование отца императора Петра, Алексея Михайловича.



*А. Ф. Зубов. Адмиралтейство. 1716 г.*

После появления над городом кораблика Адмиралтейство из сооружения чисто утилитарного превратилось в одну из красивейших построек города.

А уж после того, как в 1728–1738 годах Иван Кузьмич Коробов его перестроил, башня Адмиралтейства, восхищавшая современников безукоризненно точно найденными пропорциями, определяла организацию застройки огромного района столицы, ставшего вопреки планам Петра ее центром. Как только Коробов приступил к работе, ему было дано предписание: «...Адмиралтейскую башню, на которой шпиц (понеже она со второго апартамента мазанко-



вая и весьма пошаталась), за ветхостью ныне немедленно разобрать и для прочности сделать вновь всю каменную и шпиг поставив». В плане башня представляла собой куб, на него были установлены два яруса, по высоте они были одинаковы, но оба постепенно сужались кверху. В верхней части башни архитектор расположил зал заседаний Адмиралтейств-коллегии. Там же хранили трофеи морских побед российского флота. Венчал сооружение шпиль, повторявший тот, что был установлен ван Болесом. Распоряжение императрицы Анны Иоанновны Коробов выполнил с блеском.

*Иван Кузьмич Коробов, чье имя, как и имена многих наших славных соотечественников, незаслуженно забыто, был одним из тех, кого Пушкин назвал «птицами гнезда Петрова». Выходец из древнего боярского рода (отец его был знаменитым в свое время иконописцем Оружейной палаты) детство провел в тихом, но бережно хранившем память о былой славе Переславле-Залесском. В этом городе родился князь Александр Ярославич, прозванный Невским. А построил Переславль (поначалу не город, а крепость для защиты русской земли от набегов волжских булгар) сам Юрий Долгорукий. Наверное, дивная красота древних храмов и монастырей пробудила в мальчике и чувство прекрасного, и желание строить. А еще – Плещеево озеро, казавшееся огромным, как море. Правда, моря мальчик пока не видел, да мог бы и вообще не увидеть никогда, если бы не одна встреча...*

*О том, как познакомились юный русский царь, строивший в Переславле свой потешный флот, предтечу великого российского флота, и любознательный переславский мальчишка, история умалчивает. А вот о том, что Петр направил мальчика учиться сначала в Москву, а потом в Голландию, известно доподлинно. Сохранилось даже письмо царя, адресованное ученику Ивану Коробову, просившему перевести его на учебу во Францию или в Италию. Письмо, на мой взгляд, поразительное. «Иван Коробов. Пишешь ты, чтобы отпустить тебя во Францию и Италию для практики архитектуры цивилис. Во Франции я сам был, где никакого украшения в архитектуре нет и не любят; а только гладко и просто и очень толсто строят, и все из камня, а не из кирпича. О Италии довольно слышал; к тому же имеем трех человек русских, которые там учились и знают нарочито. Но в обоих сих местах строения здешней ситуации противные<sup>4</sup> места имеют, а сходнее голландские. Того ради надобно тебе в Голландии жить, а не в Брабанди<sup>5</sup>, и выучить манер голландской архитектуры, а особливо фундаменты, которые нужны здесь; ибо равную ситуацию имеют для низости и воды, также тонкости стен. К тому же огородам (садам) препорции, как их измерять и украшать, как леском, так и всякими фигурами; чего нигде в свете столько хорошего нет, как в Голландии, и я ничего так не требую, как сего. Также и слюзному<sup>6</sup> делу обучаться тебе надлежит, которое здесь зело нужно. Того ради отложи все, сему учись. Петр. В 7-й день ноября 1724 года...»*

*Представьте, это пишет повелитель великой державы. И кому? Мальчишке. Время нашло. И не просто приказал продолжать учебу – объяснил, почему это нужно Отечеству...*

*В том, как был прав Петр Алексеевич, Коробов убедился, когда уже после смерти императора был назначен архитектором Адмиралтейств-коллегии. В его обязанности входило проектирование и строительство, содержание и реконструкция верфей, гаваней, парусных, полотняных, канатных и прядельных фабрик, складов для хранения и сушки лесных материалов, пеньки и других припасов, нужных для строительства и оснастки кораблей, – в общем всего, что необходимо военно-морскому флоту.*

<sup>4</sup> Противные – противоположные, отличающиеся.

<sup>5</sup> Брабандия – Бельгия.

<sup>6</sup> Слюзный – шлюзный.

*А участки под строительство отводили, как правило, болотистые, неосвоенные, так что проблем было много, притом не столько архитектурных, сколько инженерных, о чем и предупреждал Петр.*

*Перестройка Адмиралтейства, дело труднейшее и ответственнейшее, стала для архитектора праздником: наконец-то он смог заняться не просто работой – творчеством. Его баиня – произведение выдающееся. Недаром гениальный русский зодчий Андреян Дмитриевич Захаров, который в начале XIX века перестраивал Адмиралтейство, полностью включил ее в свою композицию.*

В 1736 и 1737 годах в Петербурге случились опустошительные пожары. Адмиралтейство они не затронули: обширный Адмиралтейский луг, весной и осенью превращавшийся в вязкое болото, а летом – в пыльную пустыню, предохранял Адмиралтейство, не давал огню перекинуться от Морской слободы на постройки верфи. Но в ведении адмиралтейского архитектора находилась и Морская слобода, а она пострадала больше других районов.

18 августа 1736 года появился указ Главной полицеймейстерской канцелярии, который предписывал, «собрав всех архитекторов, погорелые места, все осмотреть и измерить и каким образом впредь дома строить учинить всем тем местам разные проекты». Незамедлительно была создана комиссия, которой предстояло решить, как застраивать пепелища, как во избежание повторения трагедии ликвидировать тесные кварталы с деревянными постройками, устроить проезды между домами, расширить старые улицы, проложить новые, создать площади. Возглавил комиссию Петр Михайлович Еропкин. Вошел в нее и Михаил Григорьевич Земцов, занимавший тогда должность архитектора Главной полицеймейстерской канцелярии. Так что судьба новой застройки Петербурга (в том числе и Невского проспекта, тогда еще именовавшегося Большим) оказалась в руках трех первых русских зодчих Петербурга, людей талантливейших.

*Почти всех строителей Петербурга жизнь не баловала. Но судьба Еропкина – самая страшная. Он был обезглавлен вместе с кабинет-министром императрицы Анны Иоанновны Артемием Петровичем Волынским и капитаном флота Андреем Федоровичем Хрущовым при большом скоплении любопытного до таких зрелищ люда на площади, где сейчас Сытный рынок. Но сначала их пытали. Писать об этих пытках нет сил. Гестаповцы могли бы поучиться. Казнили образованнейших людей своего времени за то, что подняли голос против немецких временщиков и главного из них – всемогущего фаворита Анны Иоанновны герцога Бирона. А ведь долгие годы судьба была к архитектору на редкость благосклонна: восемь лет он обучался архитектуре в Италии, Франции и Голландии. Вернувшись в Россию, был замечен Петром I, который даровал ему звание архитектора и чин полковника. Такой чести до Еропкина не был удостоен ни один русский зодчий. Уже при Анне Иоанновне Петра Михайловича назначили главным архитектором «Комиссии о Санкт-Петербургском строении». Три года до ареста в 1740 году ни одно здание в городе не было возведено без его ведома. Он стал автором генерального плана Петербурга и проектов планировки и застройки главных районов столицы.*

*Еще в начале строительства от адмиралтейской эспланады в окружавшей ее лесной чаще были вырублены просеки. Они-то со временем и превратились в главные городские магистрали. Но создателем трилущия принято считать Еропкина. Именно он, разрабатывая план застройки Петербурга, рассчитал все так, чтобы даже с самого конца любой из улиц было видно Адмиралтейство (злополучный поворот Невского случился задолго до его вступления в должность). На баиню Адмиралтейства, стройную и строгую, были ориентированы три*

*луча, три главные улицы левобережной части города: Вознесенский проспект, Гороховая улица и главный проспект Петербурга – Невский, восточный и самый длинный луч трилучия.*

А верфь, казалось, обосновалась в центре столицы навсегда. Но находиться рядом с царским дворцом – дело опасное. Судьба Адмиралтейства тому подтверждение. В 1783 году на верфи вспыхнул пожар, да такой сильный, что Екатерина II не на шутку перепугалась и повелела немедленно перевести Адмиралтейство в Кронштадт, где уже существовали ремонтные и судостроительные мастерские. Здание же посчитала разумным и полезным приспособить для Сената и Синода. Только решение императрицы пришлось не по вкусу чиновникам Адмиралтейства: это ж кому захочется добираться до работы в такую даль! И случилось то, что не раз случалось и наверняка еще будет случаться: затянули, заволокнули исполнение царского приказа, а потом и сама государыня отвлеклась на другие дела, показавшиеся ей более важными.



*Э. Барт. Адмиралтейская площадь. Ок. 1823 г.*

Преемник Екатерины Павел Петрович поступил, как всегда, несколько странно. Знал ведь, что еще в петровские времена верфь-крепость утратила какое бы то ни было оборонное значение, но вопреки очевидному усердно и поспешно занялся фортификационным укреплением Адмиралтейства. На гласисе, то пыльном, то слякотном, император муштровал солдат. До изнеможения.

А вот Александр Павлович желал видеть рядом со своим дворцом не плац-парад и не стапели, а что-нибудь благородное, ласкающее взор. Военно-морской министр адмирал Павел Васильевич Чичагов с пониманием отнесся к желанию монарха и порекомендовал ему архитектора, способного придать Адмиралтейству облик величественный и одновременно изящный (в полном соответствии с эстетическими пристрастиями любимого внука Екатерины Великой).

Архитектором этим был Андреян Дмитриевич Захаров, первый из русских зодчих Петербурга, названный гением. Но прежде чем рассказывать о создателе нынешнего Адмиралтейства, признанного одним из шедевров не только русской, но и мировой архитектуры, не могу умолчать о человеке, чья жизнь с Адмиралтейством связана неразрывно и кому город обязан тем, что строительство, вернее – перестройка здания была поручена не одному из многих пребывавших в то время в Петербурге именитых иностранцев, а именно Захарову.

*Павел Васильевич Чичагов – адмирал наследственный, его батюшка Василий Яковлевич был человеком заслуженным, соратником Потемкина, преданным помощником Екатерины. Он навсегда остался на Невском проспекте (на памятнике перед Александринским театром) в числе сподвижников, окружающих императрицу. Любовь к морю в семье Чичаговых тоже*

наследственная. Так что перед Павлом вопрос о выборе профессии не стоял: в 14 лет заступил он на флотскую службу, а после нескольких дальних походов начал учиться в военно-морском училище в Портсмуте. В 1795 году капитан 66-пушечного русского корабля «Ретвизан» вновь оказался в Англии. Его судно получило пробоины в совместном англо-русском сражении против французов. До Петербурга «Ретвизан» своим ходом дойти не мог, и Чичагов получил приказание «вести корабль в Чатамский док, обить его медью и устроить совершенно на английский образец». Русский капитан получил возможность наблюдать за работами в британских доках. Порядок и профессионализм кораблестроителей его покорили. Он писал с восхищением и искренней горечью за российский флот: «...имею пред глазами ежедневное производство работ, касательно кораблестроения, и деятельно уже более еще, нежели умозрительно вижу, сколь далеко находимся мы со флотом своим от подобия исправного флота...» Страстная заинтересованность молодого русского, его любознательность, способность вникать во все профессиональные детали вызвали интерес и симпатию управляющего доками Чарльза Проби. Он пригласил русского капитана к себе в дом. Тут-то и случилось то, что сделало Павла Чичагова сначала самым счастливым человеком на свете, потом – самым несчастным.

Вот как вспоминал сам адмирал Чичагов о встрече с женщиной, которая станет для него смыслом жизни: «Девушки были музыкантши, младшая дочь более другой. Так как я очень любил музыку, то гармония послужила к нашему сближению, и я нашел так много соотношений между чувствами и склонностями этой девушки с моими, что с каждым днем более и более привязывался к ней... Наконец, несмотря на все мое предубеждение против женитьбы, я почувствовал действительно, что мне весьма трудно будет расстаться с мисс Елизаветой Проби; я думал даже, что без нее не буду счастлив...»

Если бы он мог знать тогда, насколько окажется прав... Он переживет ее на 38 лет и ни одного дня после ее смерти не будет счастлив. А тогда он предложил любимой руку и сердце, чем вызвал гнев ее отца, еще накануне столь к нему доброжелательного. Мистер Проби не мог даже вообразить, что его дочь станет женой иностранца и иноверца. Одно дело светские беседы за чайным столом, другое... Они поженились только после смерти отца Элизабет. Но до этого Павлу Васильевичу придется преодолеть и другое препятствие, казавшееся непреодолимым: категорический запрет императора Павла. Самодержец заявил, что «в России настолько достаточно девиц, что нет надобности ехать искать их в Англию», забыв, что сам два раза был женат на иностранках. А за упорство в желании жениться только на мисс Проби и ни на ком другом даже лишил Чичагова всех отличий и поместил в Петропавловскую крепость. Спас будущего военно-морского министра Российской империи только вздорный, переменчивый характер Павла Петровича: неожиданно император повелел выпустить упряма из крепости, наградил, повысил в чине и жениться разрешил. Что ждет влюбленного моряка дальше, предугадать было невозможно. Но... жить Павлу Петровичу оставалось совсем недолго. Зато последний год павловского царствования для англичан, оказавшихся в России, был тревожен и мрачен. Отношения между недавно еще союзными державами ухудшились настолько, что выходцы из Англии чувствовали себя здесь пленниками. Однако Элизабет стойко сносила неприязнь общества: она любила мужа и ради него была готова на все. Мечтала об одном: мужа отправят в служебную поездку в Англию, и она получит возможность побывать на родине. Но осуществиться этой надежде помешал новый император Александр I. Он приблизил к себе и постоянно держал под рукой молодого, одаренного, энергичного и, что было большой редкостью и оттого особенно ценно, – абсолютно честного, не способного на мздоимство и казнокрадство морского офицера. Убедившись в неподкупности Чичагова и его преданности делу, Александр Павлович назначил того сначала вице-адмиралом, потом заместителем морского министра, а потом и главой Адмиралтейского ведомства.

С этого времени Чичагов мог позволить себе иметь открытый дом. Поначалу его жена принимала у себя в основном англичан (не потому, что не любила русских, просто дичилась, чувствовала себя чужой). Но со временем их гостеприимный дом превратился в один из центров светской и политической жизни Петербурга, а Елизавета Карловна Чичагова была принята при дворе и наконец перестала тосковать по родине. Доктор Иоганн Джон Самуил Роджерсон, лейб-медик Екатерины II, названный с ее легкой руки Иваном Самуиловичем, один из близких друзей Чичаговых, осенью 1805 года писал в Лондон: «...он смягчился, стал более гибким и хорош во всех отношениях, хорошо исполняет свои должностные обязанности, она, наконец, здесь натурализовалась и настолько в согласии со страной, что случись ей неожиданно вернуться жить в Англию, она будет отирать слезы... ее здоровье в порядке и останется хорошим, если у нее не будет больше детей». Роджерсон был очень хорошим врачом, и прогноз его, к сожалению, оказался точен. Елизавет умрет после следующих родов, оставив детей и обезумевшего от горя мужа. Но до этого еще далеко.

А пока в том самом 1805 году, когда ничто не омрачало счастья семьи (о пророчестве доктора супруги не знали), знаменитый архитектор Чарльз Камерон (его жена была ближайшей подругой Елизавет) представил Чичагову профессора архитектуры Императорской Академии художеств Андреяна Дмитриевича Захарова. Адмирал безусловно доверял Камерону, Александр I с таким же доверием отнесся к рекомендации адмирала. В результате Захаров без обычных в таких случаях сомнений и проволочек был утвержден в должности Главных Адмиралтейств Архитектора. Случилось это 25 мая 1805 года. А ровно через год, день в день, император утвердил проект, и строительные работы начались. Они будут продолжаться 13 лет. До их завершения автор проекта не доживет...

Что же до Чичагова, то его крайне беспокоила плохая подготовленность русского флота на Балтике. Он принимал все возможные меры, чтобы модернизировать флот, но реформы продвигались с трудом – слишком много было у военно-морского министра недоброжелателей. «Его боялись, потому что он настаивает на порядке, и ненавидят за то, что он не позволяет, чтобы крали в его ведомстве», – писал хорошо знакомый с российскими реалиями граф Ксавье де Местр. Придворные интриги стоили адмиралу здоровья, а смерть горячо любимого отца привела к тяжелой депрессии. В апреле 1809 года адмирала Василия Яковлевича Чичагова отпели в Александро-Невской лавре в присутствии императора и похоронили со всеми воинскими почестями. А в сентябре его сын подал в отставку, распродал имущество и отправился со всей семьей во Францию. Близко знавшая и любившая Чичаговых фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны Роксандра Скарлатовна Струдза записала в дневнике (он до сих пор остается одним из самых достоверных источников сведений об Александровской эпохе): «Адмирал Чичагов, все еще очарованный славой Наполеона, пожелал увидеть поближе предмет своего обожания. Вопреки... желанию императора, он настоял на отставке и готовился ехать в Париж. Его жена, более здравомыслящая, была не в состоянии отговорить его от этой замечательной глупости. Моя грусть при их отъезде еще усиливалась тем, что мадам Чичагова не скрывала фатального предчувствия, которое ее переполняло. Мы расстались рыдая».

Предчувствие сбылось. Русский посол в Лондоне граф Семен Романович Воронцов писал сыну Михаилу, близкому другу безутешного вдовца: «Получил письмо от бедного Чичагова, после его возвращения в Россию. Письмо разрывает сердце. Я никогда не видел такого горя, такого отчаяния, какое он испытывает по поводу кончины жены... скажи, что ты надеешься, что из любви к почившей он должен сохранить себя, чтобы посвятить образованию детей, которых она ему оставила. Он в таком отчаянии, что я опасюсь за его жизнь или, что еще хуже, что он сойдет с ума».

Друзья, ответственность за детей помогли ему не сойти с ума, вернуться к жизни. Но судьба приготовила еще один удар. Адмирал был истинным патриотом, но... боготворил

*Наполеона. И делал все, чтобы избежать войны с Францией. Очевидно, что любые усилия одного человека (если этим человеком был не император) не могли остановить неизбежное. И Чичагов принял участие в войне против своего кумира. Ему, моряку, поручили командовать армией, которая должна была воспрепятствовать переходу отступавшей французской армии через Неман и пленить Наполеона. Он с этой задачей не справился. И тут недоброжелатели, ненавидевшие Чичагова за его реформы, за его беспощадную борьбу с коррупцией и взяточничеством, припомнили ему преклонение перед императором французов. Поползли слухи, уж не преднамеренно ли адмирал дал уйти смертельному врагу России? Верили оговорам только те, кто хотел им верить. Люди, знавшие адмирала, объясняли его неудачу тем, что «случайностью поставлен он начальником сухопутных войск; но призванием его было – море. У преданных старых наших моряков имя его (до позднейшего времени опальное и редко поминемое) ценится очень высоко. Утверждают, что все лучшее заведено в нашем флоте Чичаговым». Так писал Петр Иванович Бартенев, добросовестнейший историк, собравший огромное количество свидетельств деятельности адмирала на благо России. Тем не менее положение Павла Васильевича на родине выглядело двусмысленно. Он вынужден был уехать за границу.*

*38 лет адмирал бережно хранил черное бархатное платье обожжаемой жены. Просил детей положить его в свой гроб. Волю отца дети исполнили.*

А теперь вернусь к Андреяну Дмитриевичу Захарову. Не забывая о том, что назначением на должность Главных Адмиралтейств архитектора зодчий обязан адмиралу Чичагову, скажу, что должность эта, похоже, была предначертана Захарову судьбой. Дело в том, что родился он в семье прапорщика Дмитрия Ивановича Захарова, всю жизнь прослужившего в Адмиралтействе. Семья была бедной, даже домик, где жили Захаровы, дала им Адмиралтейская коллегия. Так что слово «Адмиралтейство» стало одним из первых, что слышал будущий зодчий. И в слове этом было сосредоточено все: и крыша над головой, и скромный, но сытный обед, и увлекательные рассказы отца о кораблях, о море. Именно служба в Адмиралтействе дала возможность Дмитрию Ивановичу определить сына за казенный счет в Академию художеств. Все остальное – плоды таланта, увлеченной учебы и непрерывного труда.

Задача, поставленная перед Захаровым, была захватывающе интересна и одновременно необычайно трудна: предстояло совместить верфь – действующее промышленное предприятие – со зданием, которому надлежало стать центром грандиозного архитектурного ансамбля. Такого не только в России, но и в мире не строил никто.



*Перспектива Невского проспекта. 1901 г. Фотограф К. Булла*

Представленный Захаровым проект был таков, что не вызвал ни малейших замечаний у императора, вообще-то человека весьма требовательного, даже придирчивого. Начали со строительства восточного корпуса. Оно и понятно: нужно было поскорее убрать то, что раздражало изысканный вкус государя. Все шло хорошо, здание уже подвели под крышу, но... однажды поутру Александру Павловичу захотелось выглянуть в окно, и вдруг он обнаружил – о ужас! – что новое здание заслонило давно ставший привычным вид на невские просторы – «отнимает вид из собственных его комнат на Галерную гавань и устье Невы» (кабинет государя помещался в северо-западном углу дворца). Захаров немедленно получил предписание «отступить строением в такой пропорции, чтобы оное не отнимало упомянутых видов». Можно представить себе отчаяние архитектора: пришлось сносить 18 метров почти готового корпуса, менять композицию всего фасада. А ведь на плане, который утвердил император, все было обозначено подробно и точно, стоило только проявить хоть немного внимания... Но воля монарха – закон...

Это стоило архитектору и душевного покоя, который так нужен любому, а уж творцу – особенно, и здоровья. Ему было всего 50 лет, когда сердце не выдержало... Но он успел. Длинное, унылое, однообразное здание (исключением была лишь коробовская башня со шпилем и корабликом) он превратил в необыкновенно выразительное и величественное сооружение. Башню сделал еще монументальнее, а верхний ее ярус окружил стройной колоннадой. Над аркой поместил великолепно исполненный Иваном Ивановичем Теребневым горельеф «Заведение флота в России», отдав тем самым дань основателю флота, города и Адмиралтейства (горельеф изображает бога морей Нептуна, передающего Петру Великому трезубец – символ владычества над морями). Захаров вообще использовал скульптуру так органично и мощно, как никто. Что же касается композиционного решения, то боковые крылья, скучные, монотонные, он разбил шестью ризалитами (по три с каждой стороны). Два величественных двенадцатиколонных портика, увенчанные ризалитами, симметричные шестиколонные портики, чередуясь с гладкими плоскостями стен, создают впечатление изысканной соразмерности частей

огромного здания, делают его образцом чистоты стиля. Оно стало уникальным градостроительным узлом, связавшим между собой пространства главных площадей Петербурга: Петровской (Сенатской), Адмиралтейской (большую часть ее сейчас занимает Александровский сад) и Дворцовой. Правда, далеко не все, что задумал Захаров, удалось осуществить. Он ведь хотел сохранить канал, окружавший Адмиралтейство, облицевать его гранитом, обнести чугунной решеткой и перекинуть через него три великолепных каменных моста. Но после его смерти было выдвинуто другое предложение: засыпать канал со стороны главного фасада и бокового, обращенного к Зимнему дворцу, и сделать на его месте тротуар для пешеходов. Александру Павловичу представили сметы на производство работ по обоим проектам. Второй вариант был почти вдвое дешевле. Его император и утвердил...

Волей другого императора, Александра II, Адмиралтейство потеряло часть своего великолепного скульптурного убранства. Александр Николаевич не пожелал вступать в конфликт с главным священником армии и флота Василием Ивановичем Кутневичем, требовавшим убрать от церкви, созданной в левом крыле Адмиралтейства на время, пока не закончится строительство Исаакиевского собора, «статуи, кои поставлены на фронте и у входа в двери». Скульптуры, изображающие античных богов, якобы «не могут уже иметь тут приличия». Император, вообще-то человек со вкусом, спорить не стал: прекрасные аллегорические фигуры были уничтожены.



*Фрагмент панорамы Тозелли. Адмиралтейство с еще открытым двором*

Потом, тоже при Александре Николаевиче, на месте закрытой к тому времени верфи будет проложена Адмиралтейская набережная (что, в общем-то, вовсе неплохо, если бы участки на территории бывшей верфи не были распроданы в частные руки). Спустя несколько лет владельцы участков, руководствуясь исключительно собственным вкусом и амбициями, а вовсе не интересами города, застроили набережную огромными, несоразмерными Адмиралтейству, далекими от совершенства домами, которые подавили благородные, стильные боко-



вые павильоны Адмиралтейства и закрыли творение Захарова от Невы. А вскоре его закрыли и со стороны города: высаженный перед ним сад разросся, за деревьями стало невозможно разглядеть один из самых совершенных архитектурных памятников Петербурга. С Невского его и сейчас почти не видно (закрывает не только сад, но и огромный, стилистически чуждый и Адмиралтейству, и Дворцовой площади, и проспекту дом 1). Но это – вблизи. Зато издали... по-прежнему «светла Адмиралтейская игла».

## «Люблю твой строгий, стройный вид...»



*В. А. Серов. Портрет А. С. Пушкина. 1899 г.*

Вот я и добралась до Пушкинского времени. Теперь можно последовать за Александром Сергеевичем и попытаться разобраться в его отношениях с Невским проспектом. Можно начать с первых домов проспекта и двигаться по нему до того места, до которого когда-то добирался Пушкин, игнорируя по пути все дома, в которых он не бывал (или неизвестно, бывал ли). Можно двигаться вслед за временем: вот первое знакомство, вот – встреча через несколько лет, вот последняя встреча. Впрочем, когда речь идет о Пушкине, лучше отказаться от какого бы то ни было плана, каких бы то ни было рамок. Он сам поведет за собой. Как **ему** будет угодно.

Впервые в Петербурге он побывал младенцем. Нельзя даже с полной уверенностью сказать, возили ли его по Невскому проспекту. Во всяком случае впечатлений проспект у него оставить не мог: ребенок был хоть и гениален, но слишком мал. Второй приезд в столицу (поступать в Лицей) фактически стал первым свиданием и с городом, и с его главным проспектом. Поселились дядюшка Василий Львович с племянником не гденибудь – в самой модной по тем временам гостинице, Демутовом трактире. Адрес его (формальный) – набережная Мойки,

40. А по существу-то – Невский: всего третий дом от угла. Какое впечатление произвел тогда главный проспект Петербурга на будущего лицеиста, сказать трудно. Скорее всего, самые сильные чувства вызывали у него встречи с новыми людьми, с друзьями дядюшки, а главное – с мальчиком, которому предстоит стать самым близким, бесценным другом – с Ванечкой Пушкиным. Твердо можно сказать одно: выходя из гостиницы, мальчик видел (не мог не увидеть) дом на противоположной стороне Мойки, дом, где случится его последняя встреча с Невским проспектом, – дом купца Котомина. В общем, случилось так, что начало и конец сомкнулись, будто и не разделяли их годы, а разделила всего лишь неширокая речка Мойка, на берегу которой оборвалась жизнь...



*М.-Ф. Дамам-Демартре. Вид Мойки у Полицейского моста. 1812 г.*

Вообще пересечение Невского и Мойки – место особенное. Не только потому, что одно из самых красивых в городе. А потому еще, что все целиком связано с Пушкиным. О двух угловых домах по северной стороне Невского я уже упомянула, подробный рассказ о них впереди. А по южной стороне – Строгановский дворец, жемчужина и Невского, и всего Петербурга, а еще – дом 15, вошедший в историю как дом Чичерина<sup>7</sup>. В этом доме располагался модный ресторан Talon, в котором нередко бывал Пушкин и, вероятно, неплохо относился к его хозяину Пьеру Талону. Иначе вряд ли упомянул бы о нем в «Евгении Онегине». После возвращения из ссылки Пушкин застал в ресторане уже другого хозяина – Жана Фильетта, но пользоваться услугами ресторана не прекратил. Новый владелец, как и прежний, предоставил поэту открытый кредит. За десять дней до дуэли Пушкин послал Фильетту записку с просьбой «прислать паштет из гусиной печенки за 25 р.». Расплатиться не успел... Сделал это опекун осиротевшей семьи граф Григорий Александрович Строганов. О нем, о семействе Строгановых и об их дворце – в главе «Громады стройные теснятся дворцов и башен...».

Но до этих горестных событий еще далеко. Пушкин только что выпущен из Лицея. В столице (и на Невском тоже) он не был 6 лет. И вот – свободен! Впервые свободен от опеки стар-

<sup>7</sup> О нем я подробно писала в книге «Утраченный Петербург», на которую мне придется ссылаться не однажды; с одной стороны – это неловко, но повторяться – еще хуже, так что заранее прошу простить.

ших. Служба? Служить он не намерен. Сразу испрашивает отпуск. Правда, успевает познакомиться с некоторыми сослуживцами.

Среди них – Александр Сергеевич Грибоедов (о нем речь впереди) и Никита Всеволодович Всеволожский, «почетный гражданин кулис, непостоянный обожатель очаровательных актрис».

*«Лучшему из лучших минутных друзей» своей «минутной младости» Никите Всеволожскому Пушкин посвятил послание, начинавшееся так: «Прости, счастливый сын пиров, / балованный дитя свободы!». Определение точное. Впрочем, как всегда у Пушкина. Никита был сыном Креза. Так, причем без малейшей доли иронии, называли Всеволода Андреевича Всеволожского. Даже по сравнению с Голицыными, Юсуповыми, Шереметевыми он был богат сказочно. Но и щедр на редкость. По будням за обеденный стол в том из его домов, где он в это время жил, усаживалось до ста человек, а по праздникам и до пятисот. Причем место находилось каждому желающему. То, что сейчас называется дресс-кодом, было в доме потомственного аристократа Всеволожского вполне демократично (что и отличает подлинных аристократов от нуворишей): не допустить к столу могли только грязных и дурно пахнущих. Бедность одежды препятствием не была. Всеволод Андреевич не только владел огромным наследственным состоянием, но и постоянно его приумножал, не считал зазорным заниматься производством. В круг его интересов входила и выделка железа, и разработка месторождений каменного угля, и рафинирование сахара. Он же стал строителем первого русского парохода.*

*Сыну пример отца впрок не пошел. Никита унаследовал от батюшки только щедрость. Ну, и многомиллионное состояние, которое старательно транжирил. Человек, безусловно, одаренный, талантами своими распорядился расточительно и в конце концов допирался до того, что стал несостоятельным должником и попал в тюрьму.*



А. О. Дезарно. Портрет Н. В. Всеволожского

*Правда, не в России, а за границей. А мог бы... Пушкин ведь не зря писал: не только «счастливый сын пиров», но еще и «балованный дитя свободы!». Именно Никита Всеволожский вместе с братом Александром (близким другом Грибоедова) основал литературное общество «Зеленая лампа». Литературным обществом можно было назвать лишь условно: ни одно из его заседаний не обходилось без разговоров о политике, об уничтожении тирании, о свободе. На счастье, комиссия, расследовавшая после восстания декабристов структуру и направленность всех существовавших (хотя бы и давно прекративших свою деятельность) тайных обществ, пришла к заключению: «В 1820 году камер-юнкер Всеволожский завел сие общество, получившее свое название от лампы зеленого цвета, которая освещала комнату в доме Всеволожского, где собирались члены. Оно политической цели никакой не имело...*

*В 1822 году общество сие, весьма немногочисленное и по качествам членов своих незначущее, уничтожено самими членами, страшившимися возбудить подозрение правительства». Заключение, честно говоря, удивительное. «По качествам членов своих незначущее». Это Пушкин, Дельвиг, Гнедич, Глинка, Трубецкой – незначущие? «Страшившиеся возбудить подозрение правительства» – это кто? Декабристы Трубецкой, Глинка, Токарев? Скорее всего, члены комиссии сочли, что если самые опасные из названных уже арестованы или пребывают в ссылке, то едва ли стоит наказывать остальных, которые, и правда, от политики давно отошли.*

*Так что судьба Никиту Всеволодовича берегла. Впрочем, может быть, он уберек себя сам: просто склонность к пирам победила в нем стремление к свободе. «Гуляка праздный» не был готов жертвовать привычным образом жизни ради каких бы то ни было высоких целей. Во всяком случае через несколько дней после того, как Пушкина отправили в ссылку, «Зеленая лампа» прекратила свое существование. Единственное, в чем власти могли бы упрекнуть Никиту Всеволодовича, так это в том, что предпоследнюю ночь перед отъездом опальный Пушкин провел у него. И, как всегда, не умолкал звон бокалов. Впрочем, вечер этот закончился событием неординарным. Пушкин, как он сам рассказывал, «полу-продал, полу-проиграл» Всеволожскому в карты рукопись своих подготовленных к печати стихов. Выкупить ее удалось только в 1825 году (нельзя не отдать должное Всеволожскому: тетрадь он вернул Пушкину за половину суммы, которую тот ему проиграл). Впрочем, Пушкин на друга и не обижался. Из Михайловской ссылки писал: «Не могу поверить, чтобы ты забыл меня, милый Всеволожский, – ты помнишь Пушкина, проводившего с тобою столько веселых часов. – Пушкина... не всегда верного твоим субботам, но неизменного твоего товарища в театре, наперсника твоих шалостей...»*

Вот об одной из шалостей, на первый взгляд абсолютно безобидной, на самом деле изменившей если не судьбу, то характер Пушкина, я сейчас и расскажу. Его нередко, притом не скрывая кто недоумения, кто насмешки, упрекали в непомерной склонности к суевериям. Он этой своей слабости не отрицал. Объяснял ее так: «Быть таким суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Никитой Всеволожским ходить по Невскому проспекту, из проказ зашли к кофейной гадалщице. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. “Вы, – сказала она мне, – на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место; потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги; третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественной смертью”. Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании, и о гадалщице. Но спустя недели две после этого предсказания, и опять на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем<sup>1</sup>, который служил в Варшаве при великом князе Константине Павловиче и перешел служить в Петербург; он мне предлагал и советовал занять

его место в Варшаве, уверяя меня, что цесаревич этого желает. Вот первый раз после гадания, когда я вспомнил о гадалщице».

Вот здесь я позволю себе прервать рассказ, чтобы поделиться не переставшим удивлять давним наблюдением, точнее – открытием: только что процитированные мною слова – единственное упоминание Невского проспекта. Ни в одном стихотворении, ни в прозе Пушкин Невский проспект не называет (правда, допускаю, что это я чего-то не заметила, хотя и старалась). Мне это умолчание кажется странным. Ведь он Невский любил, иначе не проводил бы на главном проспекте столицы столько времени, иначе не выбирал бы квартиры вблизи Невского. Долго пыталась понять. И единственным убедительным объяснением этого умолчания мне кажется вот что: Пушкин воспринимал Невский проспект как некую квинтэссенцию Петербурга, и все, им сказанное о городе, относится к главной его улице. Он ведь как никто понимал: без Невского нет Петербурга.

Алексеем Федоровичем Орловым.

Но вернусь к рассказу Пушкина о пророчестве. «Через несколько дней после встречи со знакомым я, в самом деле, получил с почты письмо с деньгами – и мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ<sup>8</sup>, с которым мы, бывши еще учениками, играли в карты, и я обыграл; он, получив после умершего отца наследство, прислал мне долг, которого я не только не ожидал, но и забыл о нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен».

Третье предсказание – это слова гадалки: «Ты прославишься, будешь кумиром соотечественников...» Прерву ненадолго рассказ о том, что было предсказано Пушкину, чтобы рассказать о поразительном совпадении. Вдова Федора Михайловича Достоевского Анна Григорьевна вспоминала, что в 1877 году у них дома часто бывал Всеволод Сергеевич Соловьев<sup>9</sup>. Однажды он рассказал, что познакомился с интересной дамой. Она предсказала ему некоторые факты, которые уже сбылись. Федор Михайлович поинтересовался, далеко ли живет гадалка. Выяснилось, что совсем близко (ох уж этот Невский!). Достоевский предложил зайти к ней теперь же. Соловьев согласился, и они направились к гадалке. «Госпожа Фильд, конечно, не имела понятия, кто был ее незнакомый гость, – писала Анна Григорьевна, – но то, что она предсказала Федору Михайловичу, в точности сбылось. Госпожа Фильд предсказала мужу, что в недалеком будущем его ожидает поклонение, великая слава, такая, какой он даже и вообразить себе не может». Не поразительно ли, два петербургских гения – два одинаковых предсказания. С разрывом почти в 60 лет.

Но вернусь к тому, что было предсказано Пушкину. «Дважды будешь отправлен в ссылку... Может быть, ты проживешь долго, но на 37-м году берегись белого человека, белой лошади или белой головы». Многие вспоминали, что Пушкин иногда, будто в забытии, повторял: *weißer Ross, weißer Kopf, weißer Mensch...* Кстати, по свидетельству Льва Сергеевича Пушкина, Александра Кирхгоф предсказала его брату еще и роковую женитьбу.

Александр Сергеевич об этом предсказании гадалки предпочитал умалчивать.

Можно вообразить, как действовали на Пушкина, человека нервного и впечатлительного, сообщения о том, что зловещие пророчества гадалки сбываются. Когда он вернулся в Петербург из ссылки, ему тут же рассказали о судьбе генерала Милорадовича. Оказывается, боевой генерал, бесстрашный, участвовавший в двухстах сражениях, пятьдесят два раза ходивший в атаку и ни разу не раненый, с усмешкой приговаривавший: «Пуля для меня еще не отлита!», в первых числах декабря 1825 года неожиданно (похоже, не только для окружающих, но и для самого себя – он был абсолютно чужд суеверий) заглянул в салон той самой гадалки, что предрекла судьбу Пушкина. Что подвигло его на такой, при его характере, странный шаг? Озор-

<sup>8</sup> Николай Александрович Корсаков.

<sup>9</sup> Сын знаменитого историка, академика Сергея Михайловича Соловьева.

ство? Любопытство? Или что-то мистическое, необъяснимое? Во всяком случае вел он себя так, будто не относился к гаданию всерьез. Даже когда услышал, что через две недели будет прилюдно убит, только улыбнулся в ответ – не поверил. Но через две недели наступило 14 декабря: обезумевшая от ужаса лошадь понесла вдоль шеренг мятежного каре декабристов залитого кровью, смертельно раненного героя, отважного, неуязвимого кумира русской армии. Генерал Милорадович был убит неожиданно и прилюдно, как и предсказала гадалка.

Для Пушкина эта смерть была не только подтверждением пророческого дара Александры Филипповны Кирхгоф, но и личной потерей. О его отношении к покойному военному генерал-губернатору Петербурга свидетельствуют слова из письма к Василию Андреевичу Жуковскому: «Что касается графа Милорадовича, то я не знаю, увидаю ли я к его ногам или в его объятия». Причина такого отношения была более чем серьезна: именно Милорадович спас Пушкина от ссылки на Соловки или в Сибирь (хлопотали о смягчении участи строптивого поэта многие, удалось – Милорадовичу).

А дело было так. Федор Николаевич Глинка вспоминал, как однажды (дело было 15 апреля 1820 года) встретил взволнованного Пушкина, который рассказал, что его за вольнолюбивые стихи требуют на расправу к Милорадовичу. Пушкин просил совета, как ему вести себя с всесильным генерал-губернатором. Глинка ответил: «Идите к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения... Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности».

Здесь нелишним будет сказать, что генерал-губернатор отлично знал, какую судьбу готовят поэту: он должен был только начать – арестовать Пушкина и забрать все его бумаги. Дальше действовать предстояло ведомству Аракчеева: сопроводить арестованного в далекую ссылку. Не Милорадович и даже не Аракчеев определили эту судьбу – сам император.



*К. П. Беггров. Портрет Ф. Н. Глинки. 1821 г.*

А вот что рассказал Глинке о визите Пушкина и о том, что за этим последовало, сам Милорадович. «Знаешь, душа моя! (это его поговорка) у меня сейчас был Пушкин. Мне ведь

велено взять его и все его бумаги, но я счел более деликатным (это тоже его любимое выражение) пригласить его к себе и уж у него самого вытребовать бумаги. Вот он явился, очень спокоен, с светлым лицом. И когда я спросил его о бумагах... “Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-нибудь написано мною (разумеется, кроме печатного), с отметкою, что мое и что разошлось под моим именем”... А знаешь ли, Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою (это тоже его словцо) обхождения».

На следующий день поутру Милорадович был у императора, подал ему исписанную Пушкиным тетрадь: «“Здесь все, что разбредось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать!” Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал, как было дело. Государь спросил: “А что ж ты сделал с автором?” “Я объявил ему от Вашего величества прощение!” Тут мне показалось, что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, он с живостью сказал: “Не рано ли?” Потом прибавил: “Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и с... соблюдением возможной благовидности отправить его на службу на юг”».

Так дерзко, так смело, с таким пренебрежением к карьере (ведь знал: за несравненно меньшие проступки можно лишиться монаршей милости, а значит и высокого чина, и всего, что с ним в России всегда было и остается связано) мог поступить только Милорадович. Не рассказал Михаил Андреевич своему доверенному лицу, чиновнику по особым поручениям, бывшему отважному адъютанту Федору Глинке только о том, что сам «подстрекал» Пушкина: «Если вы уже решились нападать на правительство, почему же вы ничего не пишете о Сенате, который не что иное, как зверинец или свинарник».



*Дж. Доу. Портрет генерала М. А. Милорадовича*

Разговор Пушкина с военным генерал-губернатором столицы происходил на Невском проспекте. В то время Милорадович занимал весь верхний этаж дома 12. Рассказывали, будто квартира графа напоминала не то музей, не то антикварный магазин. Сейчас на месте того дома огромное респектабельное здание, облицованное красным гранитом, органично сочета-



ющее черты модерна и неоклассицизма. И знают его ленинградцы-петербуржцы в основном как знаменитое в свое время ателье «Смерть мужьям». Тогда носить платье, сшитое в этом ателье, считалось ничуть не менее престижным, чем сейчас наряды от Кардена, Гуччи, Дольче и Габбана, Армани или Прада.

Дом, в котором жил Милорадович, был совсем другим: фасад, украшенный пилястрами, лопатками и медальонами, делал его больше похожим на дворец, чем на рядовой жилой дом. И был он не пятиэтажным, как сейчас, а всего двухэтажным. Вот верхний, второй, этаж и занимал генерал-губернатор. Уже после отъезда Пушкина в ссылку Милорадович с Невского проспекта перебрался на Большую Морскую в дом 38. А дом 12 по Невскому еще много раз менял как хозяев, так и обитателей. В общем, это участь большинства домов на главной магистрали Петербурга. Почти все они постепенно переходили от придворных к купцам или банкирам. И большинство владельцев не представляют для истории значительного интереса. Что касается дома 12, то один из его владельцев, несомненно, заслуживает упоминания.

*Еще в 1782 году дом поблизости от Зимнего дворца купил Александр Дмитриевич Ланской, фаворит Екатерины Великой. Покупка эта кажется странной: жил Ланской во дворце, и отпускать его от себя императрица намерения не имела. Его преданность царственной возлюбленной была столь искренней и бескорыстной, какой государыня, по собственному ее признанию и по свидетельствам современников, «в жизнь свою не встречала». Заметила она молодого красавца случайно. В отличие от других, всеми правдами и неправдами старавшихся попасть на глаза императрице, он был скромен и старательно скрывал свои чувства. А ведь влюбился в Екатерину – не в императрицу – в женицину (ему 21 год, ей – 51) самозабвенно. Он не был слеп, видел: она постарела, располнела – подурнела. Но для него она была самой прекрасной женициной на земле – единственной.*

*На святой неделе 1780 года Ланской поселился в Зимнем дворце в должности флигель-адъютанта императрицы в чине полковника, через три года произведен в генерал-поручики и назначен шефом Кавалергардского полка, еще через год пожалован генерал-адъютантом. Он был воспитан и образован ничуть не лучше большинства молодых офицеров своего круга. Но, быть может, единственный из всех фаворитов чувствовал, насколько он ниже женицины, которая позволила ему себя обожать. И начал учиться. Еще в 1782 году дом поблизости от Зимнего дворца купил Александр Дмитриевич Ланской, фаворит Екатерины Великой. Покупка эта кажется странной: жил Ланской во дворце, и отпускать его от себя императрица намерения не имела. Его преданность царственной возлюбленной была столь искренней и бескорыстной, какой государыня, по собственному ее признанию и по свидетельствам современников, «в жизнь свою не встречала». Заметила она молодого красавца случайно. В отличие от других, всеми правдами и неправдами старавшихся попасть на глаза императрице, он был скромен и старательно скрывал свои чувства. А ведь влюбился в Екатерину – не в императрицу – в женицину (ему 21 год, ей – 51) самозабвенно. Он не был слеп, видел: она постарела, располнела – подурнела. Но для него она была самой прекрасной женициной на земле – единственной.*



*Д. Г. Левицкий. Портрет флигель-адъютанта А. Д. Ланского. 1780 г.*

*На святой неделе 1780 года Ланской поселился в Зимнем дворце в должности флигель-адъютанта императрицы в чине полковника, через три года произведен в генерал-поручики и назначен шефом Кавалергардского полка, еще через год пожалован генерал-адъютантом. Он был воспитан и образован ничуть не лучше большинства молодых офицеров своего круга. Но, быть может, единственный из всех фаворитов чувствовал, насколько он ниже женичины, которая позволила ему себя обожать. И начал учиться. подарки Сашеньке императрица истратила баснословную сумму, много большую, чем на других своих фаворитов. Исключения два: братья Орловы и Потемкин. Но Орловых пятеро, и ее подарки им больше похожи на расплату за возведение на трон. А Потемкин – это Потемкин. С кем его сравнишь? Впрочем, он далеко не всегда дожидался подарков императрицы – брал сам. Ланской же поначалу отказывался и от чинов, и от подарков. Но она умела настоять на своем. Вот до сих пор и упрекают его некоторые в корыстолюбии...*



*В. Эриксен. Конный портрет Екатерины Великой. 1762 г.*

*Только мало кто знает, что перед смертью Александр Дмитриевич передал обратно в казну все недвижимое имущество, в том числе и дом на Невском (это было записано в специальном указе Сенату). Остальное свое достояние он предоставил «соизволению лица, писавшего указ». А указы, как известно, писала императрица. Она и приказала разделить оставшееся имущество между родственниками Ланского: матерью, братом и пятью сестрами.*

Коли уж речь зашла о родственниках Ланского, то они через много лет после его смерти свяжут фаворита Екатерины с человеком, которого не жаловал ее любимый внук, император Александр Павлович. Петр Петрович Ланской, дальний родственник Александра Дмитриевича, женится на вдове Александра Сергеевича Пушкина и возьмет на себя заботу о его детях.



*Н. П. Ланской. Портрет П. П. Ланского*

Было бы лицемерием умолчать о том, что приглашен был Пушкин в дом 12 на разговор (точнее, допрос) к генерал-губернатору не только за вольнолюбивые стихи, но и за другие – фривольные. Вообще его жизнь до ссылки странно, а может быть, и вполне естественно для человека его лет и его круга сочетала, казалось бы, несовместимое. Как любой светский повеса, он участвовал во многих весьма рискованных эскападах, волочился за дамами (многими и разными), порой целые ночи проводил за карточным столом. Редкий вечер обходился в его компании без веселых попоек. Бурная жизнь Пушкина беспокоила старших друзей. Константин Николаевич Батюшков с тревогой писал Александру Ивановичу Тургеневу: «Как ни велик талант Сверчка, он его промотает...»

Но то была видимая всем сторона жизни, которой он не только не скрывал, но даже несколько ею бравировал. Была и другая сторона, не то чтобы тайная, но глубинная, не каждому открытая – духовная работа. Посвященный в те времена в эту сторону жизни поэта Петр Александрович Плетнев вспоминал: «Без особых причин никогда он не изменял порядка своих занятий. Везде утро посвящал он чтению, выпискам, составлению планов или другой умственной работе. Вставая рано, тотчас принимался за дело. Не кончив утренних занятий своих, он боялся одеться, чтобы преждевременно не оставить кабинета для прогулки». Зато, закончив работу, окунался, как герой «Египетских ночей», в «жизнь самую рассеянную», успевал побывать на всех вечерах и приемах.

Не менее важной частью второй жизни Пушкина были беседы в Демутовом трактире с Петром Яковлевичем Чаадаевым, еще недавно «самым заметным и блистательным из всех молодых людей Петербурга». О том, как и почему оборвалась его карьера, я подробно писала в книге «Победить Наполеона»<sup>10</sup>. Пушкин как никто понял: Чаадаев несовместим с тогдашней чиновной Россией:

---

<sup>10</sup> Еще раз приношу извинения за то, что отсылаю к своим прежним книгам, но повторяться – еще хуже.

Он вышней волею небес  
Рожден в оковах службы царской;  
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,  
А здесь он – офицер гусарской.

Но даже Пушкин не мог предугадать, что и звания офицера отважный участник наполеоновских войн окажется «недостойн».

Отставной ротмистр поселился у Демута. Он снял номер, который, по современным понятиям, назвали бы люксом. Поскольку собирался жить в гостинице долго, обставил его по собственному вкусу. В те времена это разрешалось. Кстати, четыре строчки (о Бруте и Перикле) написаны к портрету Чаадаева, который висел в его кабинете в окружении двух лавровых деревьев в кадках; справа от портрета хозяина – портрет Наполеона, слева – Байрона. Юный и такой внешне легкомысленный Пушкин бывал у Чаадаева постоянно. Там он «покидал свои дурачества». Они были откровенны друг с другом, беседовали увлеченно, спорили горячо. «Но все изменялось, когда приходили к Чаадаеву с докучными визитами... светские знакомые. Пушкин сейчас же умолкал, садился в угол на диван, поджав ноги, и упорно чуждался всяких сношений с подобными посетителями», – вспоминал свидетель таких встреч.

Петр Яковлевич стал ему не просто другом, но другом-учителем. Яков Иванович Сабуров вспоминал, что влияние Чаадаева на Пушкина было «изумительно», «он заставлял его мыслить». Сабурову можно доверять безусловно: обоих он знал близко, был из тех «отчаянных гусаров», с которыми Чаадаев служил, а Пушкин познакомился и сдружился в Царском Селе еще в лицейские годы. О доверии Пушкина к Якову Ивановичу можно судить по тому, что, умирая, он назначил Сабурова (вместе с Соболевским) опекуном своих детей.

Что значили их встречи, их беседы, их споры для Пушкина? Об этом сказал он сам:

Ты был целителем моих душевных сил...  
В минуту гибели над бездной потаенной  
Ты поддержал меня недремлющей рукой;  
Ты другу заменил надежду и покой...

Жизнь разлучила друзей в 1820 году. Перед отъездом в ссылку Пушкин зашел в Демутов трактир проститься с Чаадаевым, но тот спал. Пушкин оставил записку: «Мой милый, я заходил к тебе, но ты спал: стоило ли будить тебя из-за такой безделицы». Знал бы, что разлука продлится долгие 9 лет, что Чаадаев никогда больше не будет в Петербурге...

18 июля 1821 года в Кишиневе Пушкин записал в дневнике: «Получил письмо от Чаадаева. Друг мой, упреки твои жестоки и несправедливы; никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя». Он помнил не только главное – беседы, мудрые уроки своего старшего друга. Его память хранила каждую мелочь, атмосферу. Описывая кабинет Онегина, он с документальной точностью воспроизвел все, что видел в кабинете Чаадаева:

Янтарь на трубках Цареграда,  
Фарфор и бронза на столе,  
И чувств изнеженных отрада,  
Духи в граненом хрустале;  
Гребенки, пилочки стальные,  
Прямые ножницы, кривые,  
И щетки тридцати родов

### И для ногтей и для зубов.

Они встретятся только через девять лет и потом будут видаться редко, только когда Пушкин окажется в Москве. Но связь между ними не прервется никогда.

«Мое самое ревностное желание, друг мой, – видеть вас посвященным в тайну века. Нет в мире духовном зрелища более прискорбного, чем гений, не понявший своего времени и своего призвания... Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной, сбившейся с пути России. Не измените своему предназначению, друг мой...» Это Чаадаев писал Пушкину весной 1829 года. Через два года просил: «Пишите мне по-русски; вы должны говорить только на языке своего призвания».

А это – из ответа Пушкина (написано в Демутовом трактире): «Я плохо излагаю свои мысли, но вы поймете меня. Пишите мне, друг мой, даже если бы вам пришлось бранить меня. Лучше, говорит Экклезиаст, внимать наставлениям мудрого, чем песням безумца».

А потом было «Философическое письмо», названное Николаем I «смесью дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного», приказ учинить за Чаадаевым медицинский надзор со строгим запрещением что бы то ни было печатать. Анализировать мысли и суждения Чаадаева здесь не место, хотя они достойны самого подробного, буквально построчного разбора. Скажу только о том, что касается отношений давних друзей. Пушкин написал Петру Яковлевичу письмо, в котором резко возражал против подхода Чаадаева к отечественной истории. «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал... это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние...» Это письмо написано 19 октября 1836 года. Посчитайте сами, сколько дней земной жизни оставалось Пушкину... А письмо он не отправил – не хотел причинить боль. А еще понимал: публикуя «Философическое письмо», Чаадаев поступил безрассудно. Но сделать ничего нельзя. Поздно... В конце письма есть фраза: «Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам...» Ему казалось: будь он рядом, не допустил бы, предостерег.

Так и Чаадаев, узнав о смерти Пушкина, сбросив маску «ветреной толпы бесстрастного наблюдателя», не скрывая отчаяния, повторял: «Будь я в Петербурге, Пушкин никогда бы не дрался».

Рассказ о доме 12, а потом и о дружбе с Чаадаевым заставил меня отвлечься от того, какие последствия имело легкомысленное посещение гадательного салона на Невском. В самом деле, молодые люди, почти мальчишки, ничуть не веря в любые предсказания, заходят к гадалке, и вдруг... Кажется, прошли бы мимо, и все могло повернуться иначе: он не знал бы, не думал бы об этом постоянно – не накликал бы беду. Может быть, дурные мысли и в самом деле способны материализовываться?.. Но все это – пустая игра слов. А на деле услышанное в салоне навсегда изменило мироощущение поэта. Сергей Александрович Соболевский, в последние годы один из самых близких к Пушкину людей, в статье «Таинственные приметы в жизни Пушкина» писал: «Пушкин до такой степени верил в злое предсказание его смерти, что боялся садиться на белую лошадь и общаться с белокурыми людьми... Ожидание... и желание все-таки избежать предсказанного не покидали Пушкина все те годы, которые оставалось ему прожить... Но все усилия избежать предсказанного оказались тщетны: в должный день и час на жизненном пути поэта появился Дантес – “белый человек” (он носил белый мундир) с “белой головой” (был белокур). Это и был его убийца. Гибель от руки “белого человека” на тридцать седьмом году жизни была предсказана Пушкину почти за двадцать лет до того зимнего утра, когда на Черной речке прозвучал роковой выстрел...»

Алексей Николаевич Вульф вспоминал о казавшейся многим странной беспечности Пушкина перед дуэлью с графом Федором Ивановичем Толстым («Американцем»), отчаянным бретером, на счету которого было 11 (!) убитых дуэлянтов. На упреки в легкомыслии и самоуверенности поэт отвечал небрежно, но вместе с тем убежденно: «Этот меня не убьет, а убьет белокурый, как колдунья пророчила». Кстати, он оказался прав: Соболевскому удалось примирить противников, более того, Толстой стал посредником в сватовстве Пушкина к Наталье Гончаровой.

Говорил ли Пушкин о своей вере в предсказание Александру Сергеевичу Грибоедову, неизвестно. Вполне возможно, что говорил: он из этого секрета не делал. А вот Грибоедов...

Он был человек закрытый. Во всяком случае Пушкин узнал о том, что его друг тоже посещал Александру Кирхгоф, судя по всему, уже вернувшись из поездки на Кавказ, из поездки, в которой в последний раз встретился с Грибоедовым. Это случилось 11 июня 1829 года. Не доезжая до крепости Гергеры, Пушкин увидел арбу, на которой из Тегерана в Тифлис везли гроб с телом Грибоедова, растерзанного толпой обезумевших исламских фанатиков. В «Путешествии в Арзрум» он напишет: «Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге, перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия...»

Когда известие о гибели блестящего дипломата и великого драматурга дошло до российской столицы, в Петербурге только и разговоров было о том, что гадалка еще 12 лет назад предсказала ему жуткую смерть. Вспоминали, что отнесся он к предсказанию со всегдашней своей язвительной иронией: «На днях ездил я к Кирхгофше гадать о том, что со мною будет, да она такой вздор врет, хуже Загоскина комедий!» Не поверил? Или все-таки... Кто знает. Грибоедов своими переживаниями на этот счет не делился.



*И. Н. Крамской. Портрет А. С. Грибоедова*

А познакомились Пушкин и Грибоедов как раз в то самое время. Но тогда они не были настолько близки, чтобы обсуждать зловещие предсказания. Встречались только в кругу общих знакомых, да в Коллегии иностранных дел. Хотя современники утверждали, что «Пушкин с

первой встречи с Грибоедовым по достоинству оценил его светлый ум и дарования». Уже после гибели Грибоедова он напишет: «Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, – все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении». Поразительно, как много сказал Пушкин в этих коротких словах. Больше, чем самые дотошные исследователи в многостраничных трудах. Как сумел он так быстро понять замкнутого, недоступного Грибоедова? Впрочем, написано это уже после того, как они получили возможность ближе узнать друг друга. А тогда, вскоре после знакомства, Грибоедов покинул Петербург, а еще через два года пришлось расстаться со столицей и Пушкину. Но взаимный интерес не ослабевал. Пушкин с восхищением (правда, не безусловным: кое-что ему показалось малоубедительным) прочитал «Горе от ума», которое ему в Михайловское привез Пушин.

Снова встретились они весной 1828 года, когда Грибоедов привез в столицу Туркманчайский договор. Оба были уже знамениты. Оба поселились у Демута и встречались почти ежедневно. Оба стали за годы разлуки другими. Тогда, в первую свою встречу, были молодыми светскими повесами. Это ведь и о них: «Блажен, кто смолоду был молод... / Кто в двадцать лет был франт иль хват». Да, были. Пушкин сам признавался: «Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было». Но тут можно позволить себе редчайшую возможность с ним не согласиться: именно в годы юности он написал оду «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревню», «На Аракчеева». Они не были опубликованы, но, по свидетельству Ивана Дмитриевича Якушкина, «в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика, который не знал их наизусть». К слову, этим стихам юного и, по манере поведения, весьма легкомысленного поэта Якушкин во многом обязан формированием мировоззрения, которое привело его на Сенатскую площадь, а потом – в Сибирь, в каторгу. На 20 лет.

Не меньше Пушкина изменился к их второй встрече и Грибоедов. «Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств<sup>11</sup>. Он почувствовал необходимость расчесться единожды и навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь». И – поворотил.

Теперь им было что сказать друг другу. Они говорили и не могли наговориться. Сколько слышали стены Демутова трактира! Сколько слышал Невский, по которому они прогуливались вечерами! Мы никогда не узнаем... После гибели Грибоедова Пушкин сетовал: «...замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» Последние слова цитируют постоянно. Но все ли знают, по какому поводу они были написаны?

В последнюю их встречу, продолжавшуюся с 14 марта до 6 июня 1828 года – до отъезда Грибоедова в Тегеран уже в ранге министра-резидента, – были не только беседы с глазу на глаз. Вместе они бывали у Виельгорского, у Жуковского, у Олениных, у Вяземского, у Лавалей, где Пушкин читал «Бориса Годунова». В компании с Вяземским, Мицкевичем и семейством Олениных ездили в Кронштадт. Тогда же появилось на свет их единственное общее дитя: пленительный романс Глинки на слова Пушкина «Не пой, красавица, при мне...». Авторы романса – Глинка и Пушкин. Но началось-то все с Грибоедова.

<sup>11</sup> Пушкин, без сомнения, имеет в виду в первую очередь не украшающее Грибоедова участие в дуэли, которая вошла в историю под названием «четверной». О ней я подробно писала в книге «Утраченный Петербург».





*К. П. Брюллов. Портрет М. И. Глинки*

Это он как-то в гостях у Михаила Ивановича Глинки (все на том же Невском проспекте, в доме 49) спел грузинскую песню (Грибоедов был исключительно музыкален). Композитор пришел в восхищение, обработал услышанную мелодию, а потом в присутствии Пушкина ее играла Анна Алексеевна Оленина. Ею поэт в то время был увлечен. Мелодия напомнила ему путешествие по Кавказу с семьей Раевских. Тогда-то и появились слова:

Не пой, красавица, при мне  
Ты песен Грузии печальной:  
Напоминают мне оне  
Другую жизнь и берег дальный...

Стихотворение Пушкин написал 12 июня. Грибоедов уже почти неделю был в пути – в своем последнем пути из России. Теоретически и стихи, и ноты романса могли до него дойти за оставшиеся более чем полгода земной жизни. Но – вряд ли. Слишком напряженными, слишком насыщенными событиями были эти его последние 7 месяцев и 24 дня...

Незадолго до этого Пушкин тоже останавливался у Демута. Там же в это время жил и Мицкевич, недавно приехавший в Петербург. В его честь Пушкин устроил в своем номере дружескую вечеринку. Пригласил Жуковского, Вяземского, Хомякова, Крылова. Мицкевич всю ночь напролет импровизировал. На французском.

Через полстолетия Вяземский писал об этой незабываемой апрельской ночи: «Он выступил с лицом, озаренным пламенем вдохновения: было в нем что-то тревожное и прорицательное. Слушатели в благоговейном молчании были также поэтически настроены. Чуждый ему язык, проза более отрезвляющая, нежели упоющая мысль и воображение, не могли ни подавить, ни остудить порыва его. Импровизация была блестящая и великолепная... Сам он был

растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами... Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге».



*В. М. Ванькович. Портрет А. Мицкевича*

А осенью того же 1828 года Пушкин снова в Петербурге. «Жил он в гостинице Демута, где занимал бедный номер, состоявший из двух комнат, и вел жизнь странную, – вспоминал Ксенофонт Алексеевич Полевой, журналист, сотрудник журнала “Московский телеграф”. – Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лежа в постели, а когда к нему приходил гость, он вставал с своей постели, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и приглаживал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями. Иногда заставлял я его за другим столиком – карточным, обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать

было нельзя; после нескольких слов я уходил, оставляя его продолжать игру. Известно, что он вел довольно сильную игру и чаще всего продувался в пух!»

Страсть Пушкина к карточной игре с непостижимым удовольствием смаковали многие. Так хотелось сообщить о нем что-то, способное унижить, уронить его в глазах восторженных почитателей. В полном соответствии с его же словами: «Оставь любопытство толпе и будь заодно с Гением... Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как вы, – иначе...»

Однажды Николай Васильевич Гоголь, уже пишущий, но еще никому не известный, после долгих колебаний решился, наконец, представиться своему кумиру. Долго бродил по Невскому, собрался с духом, повернул направо и вошел в Демутов трактир. На вопрос, принимает ли господин Пушкин, лакей ответил, что поэт вообще-то дома, но еще не просыпался. «Наверное, всю ночь работал?» – не скрывая благоговения, спросил Гоголь. «Как же, работал! Всю ночь в картишки играл!»

А вот что об этом же времени вспоминает свидетель доброжелательный: «Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку, что попало, и убегал домой, чтоб записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки». В ту осень в Демутовом трактире за три недели он написал «Полтаву»...



*А. Г. Венецианов. Портрет Н. В. Гоголя*

Той же осенью у Демута жил Александр Дмитриевич Тырков, лицейский товарищ Пушкина, новгородский помещик, отставной штаб-ротмистр. В его номере 19 октября 1828 года праздновали семнадцатую лицейскую годовщину. Собрались все, кто был в это время в Петер-

бурге: Дельвиг, Илличевский, Яковлев, Корф, Стевен, Комовский. Шуточный протокол торжества писал Пушкин. Кончался протокол стихами:

Усердно помолившись Богу,  
Лицею прокричав ура,  
Прощайте, братцы: мне в дорогу,  
А вам в постель уже пора.

Утром Пушкин уехал в Тверскую губернию, а к Демуту вернулся только через два года. В последний раз он жил в гостинице в 1831 году. Всего несколько дней – привез в Петербург молодую жену, нужно было снимать достойную квартиру.

Я писала, что Пушкин вернулся в Петербург из ссылки другим человеком. Но и город изменился за время разлуки. Изменился и Невский. До 1819 года от Мойки до Фонтанки вдоль проспекта тянулся бульвар на высокой насыпи. Появился он зимой 1800-го по воле императора Павла, а значит – совершенно неожиданно. Павел Петрович был большой мастер на скоропалительные и экстравагантные решения. Вот однажды холодным зимним утром он и решил украсить главный проспект столицы липовой аллеей. Выполнять свое решение приказал старшему сыну, будущему императору Александру I. Тот возражать не смел, хотя и понимал, что строить насыпь из промерзшей земли и сажать деревья в трескучие морозы, мягко говоря, не ко времени. Вот и согнали на Невский тысячи рабочих: воля самодержца – закон. Бульвар был готов за месяц. Через 19 лет появилась необходимость расширить проезжую часть: и насыпь срыли, а липы пересадили. Теперь они росли вдоль тротуаров. Но прошло время, и, чтобы расширить уже не только проезжую часть, но и тротуары, липы выкорчевали – бульвар, придававший главной улице столицы оттенок провинциального уюта, исчез окончательно. Невский стал строже и надменней.

Когда Пушкин уезжал, проспект был вымощен булыжником. Проезжающие по нему в экипажах мучились от невыносимой тряски, живущие в домах, чьи окна выходили на проспект, страдали от непрекращающегося грохота (движение по главной магистрали было, конечно, несравнимо с сегодняшним, но все же довольно интенсивно). Незадолго до возвращения Пушкина сделали попытку избавиться от грохота и тряски. От Адмиралтейства до Знаменской площади проложили «колесопроводы» – толстые доски, по которым двигались экипажи. Правда, при обгоне все равно приходилось выезжать на камни.

Городские власти недолго гордились новшеством: в том же 1825 году сотрудник министерства финансов, действительный статский советник Василий Петрович Гурьев, человек хорошо образованный, небедный и весьма энергичный, внес в Комитет городских строений предложение о мощении проезжей части улиц деревянными брусками. Через 7 лет этими шестиугольными пашками (торцами) замостили Невский проспект от Адмиралтейства до Фонтанки. Это был единственный проект, который Гурьеву удалось осуществить. А проекты у него были грандиозные: собирался соединить торцовыми дорогами крупные города России, предсказав дальнейшее промышленное развитие страны.

Торцовая мостовая, придуманная и созданная Гурьевым, была по достоинству оценена европейцами. Такие мостовые вскоре построили во многих крупных городах Западной Европы и Америки. До появления асфальтовых мостовых они считались самыми совершенными. Разумеется, о том, что изобрел их русский инженер, на Западе, как это принято и до сих пор, не упоминали. Гурьеву, наверное, было обидно. Но никто не мог отрицать, что Невский проспект стал первой улицей в мире, оборудованной практически бесшумными мостовыми.

А в 1863 году, когда торцовые мостовые давно вошли в привычку, на Невском случилось событие, решительно изменившее жизнь горожан: «Во вторник 27 августа видели мы первые поезда железно-конной дороги Невского проспекта. Красиво, легко, чисто, быстро – любо

смотреть. Желаем от души успеха этому прекрасному и полезному предприятию», – писала городская газета «Голос».



*Вагон конки с газомотором, ведущий обычный вагон конки. Начало 1900-х гг. Фотограф К. Булла*

Радовались конке, потом с не меньшим восторгом приветствовали первый трамвай, первый автобус, первый троллейбус. Все эти новые виды транспорта, облегчавшие жизнь петербуржцев, появлялись сначала на Невском. А уж потом в других районах города. Но ничто не сравнится с восторгом, каким встретили ленинградцы, те, кто пережил зиму 1941–1942, зиму, которую, казалось, пережить невозможно, звонки первых трамваев, вернувшихся на улицы блокадного города 15 апреля 1942-го. Как всегда, все началось на Невском. Из пяти трамваев, вернувшихся на свои довоенные маршруты, два (семерка и двенадцатый) проходили по Невскому, еще два его пересекали: тройка – по Садовой, девятка – по Литейному.

После снятия блокады Невский вновь, как до войны, засиял огнями. Вот что писала в первом майском номере 1945 года газета «Смена»: «Во всем Ленинграде горят теперь электрические огни. Но любоваться ими ленинградцы идут непременно на Невский проспект – любовь и гордость народа. Сияет Невский, праздничный, великолепный». А первые электрические фонари появились в столице, в том числе и на главном ее проспекте, не так уж давно, в последней четверти XIX века. Они так быстро сделались привычными, что через несколько лет петербуржцы уже не могли без них представить свой город. Впрочем, фонарями Большую Перспективную дорогу осветили еще при Петре. Конечно, об электричестве тогда не подозревали, но фонарики работали четко: у батюшки царя не забалуешь, он желал, чтобы въезд в его столицу в любое время суток был безопасен, а значит – освещен.

Вот и встречала новая столица своих гостей широкой, прямой дорогой, обсаженной по обочинам двумя рядами деревьев, освещенной в темное время суток фонарями. Были на этой дороге удобные скамейки, чтобы приезжий мог отдохнуть – нововведение для русских людей неожиданное. Но главное – была дорога непривычно чистой. Следить за ее чистотой Петр поручил пленным шведам, так что в тщательности уборки сомневаться не приходилось. Потом, когда пленных отпустят домой, уборкой главной улицы столицы будут заниматься уже мест-

ные жители, в числе достоинств которых чистоплотность и любовь к порядку занимают далеко не первое место, и тем не менее Невский всегда будет радовать взгляд чистотой. В XIX веке всех проституток, пойманных за ночь, заставляли в 4 часа утра подметать тротуары и мостовые. Увиливать от работы не удавалось: на каждом перекрестке стояла полицейская будка, в которой дежурили трое полицейских, внимательно следивших за качеством уборки. В общем, Невский всегда (почти всегда) оставался чистым. И – прекрасным.

Впрочем, сегодня многие справедливо негодуют, что красоту проспекта заслоняет, искажает реклама, в большинстве случаев безвкусная, агрессивная, со строгой изысканностью проспекта категорически несовместимая. И объясняют это деградацией эстетических представлений и норм, да и культуры в целом.

Возразить нечего. Разве только одно: нечто подобное случалось с Невским проспектом не однажды. Вот строчки из указа императрицы Елизаветы Петровны: «Чтобы по большим знатым улицам никаких вывесок, как ныне их множество разных ремесел видно и против своего дворца Ее Императорского Величества, не было». Напомню: дворец этот стоял на Невском проспекте, занимая пространство от Малой Морской почти до самой Мойки. Говорят, Елизавета была капризна. Но этот указ – не каприз. Это забота о красоте города, который именно за 20 лет правления дочери Петра превратился в один из самых дивных городов мира. Все, что портило вид столицы, пресекала она немедленно. А вкус у государыни был отменный.

Судя по тому, что видишь на «Панораме Невского проспекта» Василия Семеновича Садовникова (о ней и ее авторе я еще расскажу), об указе Елизаветы Петровны помнили долго. Вывесок на Невском немного, разглядывать красоту архитектуры они не мешают, да и в дурновкусии их не обвинишь. Но время шло, капитализм уверенно утверждался в России и, конечно, на главной улице ее столицы. Стоит посмотреть на фотографии Карла Карловича Буллы, который снимал Невский постоянно: увидишь нечто, не просто созвучное сегодняшнему дню, но даже его превосходящее. Фасады домов буквально залеплены рекламой. Ни о каком стилистическом единстве нет и речи. Каждый старается рекламировать свое заведение или свой товар так, чтобы затмить соседей. Реклама кричит: зазывает, заманивает. И никого не волнует, что строгая красота Невского проспекта стала из-за этого недоступна взгляду. Похоже, в первые годы XX века о любви к городу, о гордости его величавым совершенством просто забыли. Думали только о прибыли. Может быть, и за это тоже пришлось расплачиваться тогдашним хозяевам жизни?..



*Угол Невского проспекта и Садовой улицы. 1908 г. Фотограф неизвестен*

Сейчас я поделюсь мыслью крамольной, которая наверняка у многих вызовет протест: Невскому проспекту больше всего (во всяком случае за последние полтора века) «шло» советское время. Мысль эта никакого отношения к политике не имеет, она возникла при сравнении разновременных изображений Невского. Начиная с конца 20-х и до конца 80-х годов XX века рекламы на проспекте практически не было, и ничто не отвлекало, не мешало видеть его красоту. Даже вывеска на дворце Белосельских-Белозерских, сообщающая, что в нем располагается Куйбышевский райком КПСС (что способно вызвать массу самых разнообразных эмоций), эстетического чувства не оскорбляла – была скромна и почти незаметна.

Но вернусь к изменениям, которые происходили при жизни Пушкина. Самое, пожалуй, из них существенное – перестройка Демутова трактира, с которым так много было связано. Но изменения эти случились во времена, когда Пушкин там уже не жил, а лишь время от времени навещал поселявшихся у Демута друзей и знакомых. Еще в 1830 году вездесущий Филипп Филиппович Вигель (он, кстати, тоже выбрал для жительства Невский проспект, дом 80) писал: «Демутов трактир принадлежит к малочисленным древностям столетнего Петербурга». Он «один еще не тронут с места и не перестроен». А уже через два года строительная лихорадка добралась и до Демутова трактира. К началу XX века здание превратилось в огромный доходный дом. Но до этого его стены еще успели повидать многое и многих: Матвея Ивановича Платова и Алексея Петровича Ермолова, Михаила Михайловича Сперанского, Александра Ивановича Герцена, Отто фон Бисмарка, Ивана Сергеевича Тургенева. Список можно длить и длить. Назову еще только двоих. Хотя бы потому, что они были друзьями Пушкина.

Пятнадцать лет прожил у Демута, уйдя в отставку, адмирал Федор Федорович Матюшкин. Был прославленный мореплаватель безмерно одинок, поддерживала его только надежда, что его друзья, особенно самый любимый – Пущин, вернутся из сибирской ссылки. Он дождался. Они часто вспоминали Лицей, читали стихи своего покойного друга (им обоим он посвятил немало наполненных искренней привязанностью строк).

И еще один лицейский товарищ, которому Пушкин тоже не раз посвящал стихи, поселился в 1856 году в Демутовом трактире. Александра Михайловича Горчакова недавно вступивший на престол Александр II срочно вызвал в Петербург. О причинах вызова князь не знал, подозревать можно было всякое: мог, к примеру, государь разгневаться за то, что Горчаков отказался подписать унижительный для России Парижский трактат, подводивший неутешительные итоги Крымской войны. Могли поводом для вызова стать очередные интриги закланного врага, министра иностранных дел графа Нессельроде... Поселившись у Демута и приведя себя в порядок после дороги, Горчаков отправился в Зимний дворец. Результат визита был неожиданным и для страны на редкость благотворным: государь назначил Горчакова министром иностранных дел Российской империи. Потом он станет канцлером, вторым лицом в империи, к княжескому титулу, принадлежавшему ему по праву рождения, добавится звание «светлейший». Для своего Отечества на дипломатическом поприще он сделает почти так же безмерно много, как его лицейский друг для поэзии. В общем, сбудется предсказание Пушкина: «Тебе рукой Фортуны своенравной / Указан путь и счастливый и славный...»

До конца дней жить Горчаков будет в здании Министерства иностранных дел (своим домом, дворцом, виллой, в отличие от большинства правительственных чиновников, не обзаведется). Из окон своего кабинета он будет видеть Демутов трактир (если смотреть направо), если налево – дом 10 по набережной Мойки, где когда-то жил Пущин, ради спасения которого от каторги будущий канцлер, не раздумывая, решился пожертвовать карьерой, а то и жизнью (это другая история, которая к Невскому проспекту касательства не имеет); а дальше – дом 12, последний приют Пушкина. Наверное, последний оставшийся в живых лицеист не раз вспоминал...

Вообще почти каждый дом рядом с Мойкой помнит Пушкина. Именно поэтому биографии всех этих домов кажутся интересными. Если перейти через Большую Морскую, в угловом доме по Невскому под номером 13, который, как и все его соседи, стоит на месте деревянного Зимнего дворца Елизаветы Петровны (построенного Растрелли в 1755 году, после смерти государыни обезлюдевшего, а в 1767-м и вовсе снесенного), Пушкин бывал часто. По разным поводам. Территория, на которой стоит дом, пустовала больше тридцати лет, пока императрице Екатерине не надоело видеть «голым» угол Невского и уже вновь проложенной к тому времени Большой Морской (улицу на 20 лет перекрывал царский дворец). Государыня повелела Юрию Матвеевичу Фельтену выстроить на этом месте каменное здание, которое украсило бы своим видом главную улицу. Но, похоже, была уготована этому месту странная участь: ждать пришлось еще больше 30 лет. Сначала не сложилось что-то у Фельтена. Потом Николаю Александровичу Львову было велено построить на этом участке Кабинет Ее Императорского Величества. Казалось бы, тут-то уж ничто не может помешать. Но... опять не заладилось. Уже при Павле его любимец Винченцо Бренна составил проект театра, который, вроде бы, здесь весьма уместен. И снова что-то помешало.

Только после того, как участок купил херсонский купец первой гильдии Перетц, был наконец заложен фундамент. Но и тут дело дальше не пошло.

*Абрам Израилевич Перетц – фигура весьма примечательная. По настоятельной рекомендации самого Григория Александровича Потемкина, желавшего иметь под рукой умных и честных людей, он перебрался в Петербург и стал одним из немногих евреев, живших в столице с разрешения властей. Стал он богатейшим подрядчиком-кораблестроителем, банкиром, откупщиком и крупнейшим поставщиком соли в казну. В 1801 году Павел I пожаловал ему звание коммерции советника. С ним консультировались по финансовым вопросам Михаил Михайлович Сперанский и граф Егор Францевич Канкрин (будущий министр финансов Российской империи некоторое время служил у Перетца секретарем). Именно Перетц разработал основной план финансовой реформы Сперанского, который одно время даже жил в доме банкира.*



*Во время войны 1812–1814 годов Перетц вложил все свое состояние в организацию снабжения русской армии, и ни разу никто не пожаловался на низкое качество или несвоевременность поставок. Однако казна задерживала платежи, и ему пришлось объявить себя банкротом (имущество Перетца было продано за полтора миллиона рублей, хотя казна должна была ему четыре миллиона). Понятно, почему построить новый дом на Невском он так и не смог.*

А вот новые владельцы участка, братья Степан и Григорий Федоровичи Чаплины, торговавшие чаем и мехами, дом все-таки выстроили. Более того, он единственный сохранил до наших дней свойственные в свое время всему архитектурному ансамблю этой части проспекта черты строгого классицизма.

В этом доме Пушкин бывал и до, и после ссылки. До (юный и беззаботный) – в гостях у сослуживца по Коллегии иностранных дел графа Александра Петровича Завадовского, сына и наследника одного из фаворитов Екатерины Великой – Петра Васильевича Завадовского. Был молодой граф человеком далеко не безупречным, но остроумным и хлебосольным (старательно и охотно проматывал наследство отца), к тому же приятельствовал с Александром Сергеевичем Грибоедовым (тот осенью 1817 года жил в квартире Завадовского), общение с которым Пушкину было всегда интересно.

После возвращения из ссылки, вернее уже после женитьбы, Пушкину приходилось бывать в доме 13 по поводам малоприятным. В полуподвале этого респектабельного дома помещалась Контора нотариуса Кабацкого. У почтеннейшего Михаила Артемьевича Пушкин заверял долговые обязательства на оплату покупок, не столько своих, сколько сделанных Натальей Николаевной в Английском магазине (он сначала помещался в доме 16 по Невскому, потом в доме 7 по Большой Морской). Навещать Кабацкого приходилось все чаще и чаще...



*Неизвестный художник. Портрет К. К. Данзаса*

Английский магазин на Невском, 16 был одним из самых роскошных и дорогих в Петербурге. Достаточно сказать, что туда нередко заходил сам император, чтобы купить праздничные

подарки жене и детям. В 1830 году газета «Северная пчела» печатала серию очерков «Письма провинциалки из столицы», написанную от лица восторженной и одновременно наблюдательной и язвительной провинциалки. Она писала якобы оставшимся в деревне родственникам: «Английский магазин есть столица всех магазинов. Не знаю, почему он называется Английским, ибо в нем продаются русские, французские, немецкие всякие товары, бриллианты и глиняная посуда, золото, серебро, бронза, сталь, железо, посуда, всевозможные ткани для женских уборов и платья, все принадлежности дамского и мужского туалета и... вместе с духами, помадою и кружевами вино, ликеры, горчица и даже салат в банках. Тут охотничье ружье, там хрусталь, тут кисея, ситцы, там шелковые ткани, здесь мужские шляпы, там дамские итальянские; здесь кожаные чемоданы, ковры, тут бриллиантовые вещи и ордена, там иголки, здесь готовое платье, плащи, шинели... Непостижимое дело! Мне кажется, что этот магазин должен был бы называться не Английским, а универсальным». В самом деле, его вполне можно считать предтечей современных супермаркетов. Этот-то магазин и предпочитала прекрасная Натали. Цены ее не смущали. Пушкин имел в Английском магазине неограниченный кредит. Остался должен владельцам 2015 рублей. Опека долг заплатила.

Но вернусь к дому 13. Там размещался еще и «Магазин военных вещей» Алексея Куракина. Именно в нем 24 января 1837 года Пушкин купил пистолеты – дуэльный гарнитур (в него входят 2 пистолета, шомпол, стартер или молоток, пороховница, пулелейка, капсюля, пули в коробочке или в специальном отсеке, штопор для пыжа, ершик и еще некоторые мелочи). О дуэльных пистолетах он мечтал давно, но все не было денег. Впрочем, их не было и перед последней дуэлью. Пришлось отнести к ростовщику Шишкину столовое серебро, под залог которого получил необходимые 2200 рублей. Несмотря на малопочтенную профессию, Алексей Петрович Шишкин, отставной подполковник, был человеком порядочным, к нему Пушкин не раз обращался в трудные минуты. А такие минуты выпадали все чаще. За последние полтора года жизни Пушкин получил у Шишкина под залог 15 960 рублей...

Деньги, полученные под последний залог, скорее всего, и пошли на покупку пистолетов. 27 января, около двух часов дня, Константин Карлович Данзас отправился за пистолетами. Уложив их в сани, подъехал к кондитерской Вольфа и Беранже, которая находилась в двух шагах от магазина Куракина, на противоположной стороне Невского проспекта в доме 18. Там его уже ждал Пушкин...

Данзас пережил своего лицейского товарища на 33 года. И, судя по многочисленным свидетельствам, был глубоко несчастен. Чувство вины за гибель Пушкина не покидало его. Хотя помочь, спасти он был бессилен. Да, наверное, бессильны были все. Правда, граф Владимир Александрович Соллогуб сказал вскоре после роковой дуэли: «Он в лице Дантеса искал или смерти или расправы с целым светским обществом. Я твердо убежден, что если бы Сергей Александрович Соболевский был тогда в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, один бы мог удержать его. Прочие были не в силах». Может быть. Тем более что, по мнению многих, именно Соболевский сумел не допустить двух дуэлей Пушкина: с Федором Толстым и Владимиром Соломирским. Но в том роковом январе Соболевский был за границей. Не было рядом ни Нащокина, ни Чаадаева, ни Пущина, который, узнав о смерти друга, сказал: «...пуля встретила бы мою грудь». Можно представить, как казнил себя Данзас: он единственный мог закрыть Пушкина собою и не сделал этого... Правда, обвинял себя только он сам, другие понимали: ничего сделать было невозможно. Данзас наверняка читал письмо Матюшкина Яковлеву – крик отчаяния: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил!.. Как мог ты это допустить?» Ни слова упрека, а уж тем более обвинения Данзасу, только – Яковлеву. Но ведь Михаил Лукьянович не был рядом, не его попросил Пушкин о последней и очень опасной услуге – Данзаса. Впрочем, есть основания полагать, что выбор этот был спонтанным. Вообще-то Пушкин хотел, чтобы его секундантом стал Клементий Осипович Россет, брат Александры Осиповны Россет-Смирновой. Поэт относился к нему с теплотой и уважением, писал о нем

как о «весьма достойном молодом человеке, который покидает блестящий свет... для сурового ремесла грузинского солдата». Ко времени дуэли Клементий Осипович успел повоевать и вернуться в Петербург, и именно к нему на Пантелеймоновскую улицу ехал Пушкин утром 27 января, но... не застал дома. Зато встретил старого лицейского товарища. Был уверен: Данзас в его просьбе не откажет.

Данзас не отходил от умирающего до конца. Софья Николаевна Карамзина писала брату: «Как трогателен секундант Пушкина, его друг и лицейский товарищ полковник Данзас, прозванный в армии “храбрым Данзасом”, сам раненый, с рукой на перевязи, с мокрым от слез лицом, он говорил о Пушкине с чисто женской нежностью, нисколько не думая об ожидающем его наказании, и благословлял государя за данное ему милостивое позволение не покидать друга в последние минуты его жизни и его несчастную жену в первые дни ее несказанного горя».

Бесценны воспоминания Данзаса о дуэли (он – единственный свидетель, словам Дантеса и д'Аршиака едва ли можно доверять безоговорочно) и последних дней жизни Пушкина. В этих воспоминаниях каждое слово – боль.

Но если отвлечься от эмоций, то есть там факт, который опровергает утверждения некоторых исследователей о том, что Пушкин исповедовался и приобщился только после того, как получил записку от императора, в которой тот ставил условие: я буду заботиться о твоей семье, только если ты умрешь христианином. Так вот, Данзас рассказал, как было на самом деле. После ухода доктора Арендта, который не скрыл от умирающего, что обязан доложить о случившемся государю, Пушкин **сразу** послал за священником, исповедовался и причастился. Только часа через два после этого Арендт «снова приехал к Пушкину и привез ему от государя собственноручную записку карандашом следующего содержания: “Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам видаться на этом свете, прими мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение”». Кому-то понадобилось чуть-чуть сдвинуть события по времени, слегка исказить смысл и тон записки. В результате царь оказался бесчувственным тираном, угрожавшим тому, кто стоял у края могилы, Пушкин – убежденным атеистом, которого под угрозой оставить его осиротевшую семью без средств к существованию заставили исповедоваться. Такая вот «интерпретация».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.